

АЛЕКСЕЙ ИВИН

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СЛЕДАМ РОДНИ



Алексей Ивин

Путешествия по следам родни

«Издательские решения»

Ивин А.

Путешествия по следам родни / А. Ивин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-968452-3

Это не путеводитель по местностям, а этносоциокультурный срез частной жизни россиян, расселенных на северо-западе европейской части страны, в самом конце XX века. Для любителей интеллектуального чтения. Книга пользовалась большой популярностью в свободном доступе. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-968452-3

© Ивин А.
© Издательские решения

Содержание

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СЛЕДАМ РОДНИ	6
ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ	6
МОНИНО, ФРЯЗИНО, ИВАНТЕЕВКА, КАЛИНИНГРАД	6
КАЛИСТОВО	14
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ	16
УСТЬЕ – СОКОЛ – КАДНИКОВ	23
РЕШЕТНИКОВО, ЗАВИДОВО	29
РЕКА ЛАМА – РЕКА ШОША	34
ПО ДОРОГАМ ПОДМОСКОВЬЯ	45
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Путешествия по следам родни

Алексей Ивин

© Алексей Ивин, 2019

ISBN 978-5-4496-8452-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

©, Алексей ИВИН, автор, 1999 г.

©, Журнал литературной критики и словесности, Сетевая словесность, Русский пионер, ЛИТМИР и др.

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СЛЕДАМ РОДНИ

Л.Р.Илюхиной и прихожанам Никольской церкви в городе Киржач

*– Чего бы ты хотел? – Господи, чтобы мне оказаться в местах,
где за целый день не встретишь человека.*

Георг Андрес Лихтола

ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ

Непостижимо, как вообще осуществляется замысел: замысел автора относительно произведения, замысел родителей относительно ребенка, – у исполнителя часто сохраняется возможность увильнуть от прямого воплощения. Есть знания, которые из чувства самосохранения лучше не разглашать. Но так как в опубликованной статье «Прочь от цивилизации» я уже заявил об этих путевых очерках как о написанных, то вынужден исполнять обещание. И все же мотивы моих путешествий летами 1994—1997 годов, которые относятся скорее к области тайноведения и парапсихологии, чем логики и целесообразности, таковы, что я предпочел бы о них умолчать: как-нибудь в другой раз...

Большинство людей, и женщин в особенности, как выяснилось, не интересуются прекрасным миром. Большинство людей интересуются помещениями, поэтому они изобрели различные повозки, автомобили, поезда, самолеты, суда, ракеты и прочие помещения. Ну, а мы с вами попробуем посмотреть на мир иначе.

Я назвал бы эту книгу «В поисках утраченного места», если бы уже известный автор не выглядывал из такого названия. А перепевать кого бы то ни было меньше всего хотелось бы.

МОНИНО, ФРЯЗИНО, ИВАНТЕЕВКА, КАЛИНИНГРАД



Гольяновский пруд на границе парка Лосиный остров

1

Уже в конце п е р е с т р о й к и я очутился в нелепейшей ситуации: треть моих сверстников и людей помоложе королями восседала среди развалов экзотических фруктов (желто-зеленые бананы, лиловые баклажаны, ярко-оранжевые апельсины – всё это было е д о й, и они из нее выглядывали), другая, в белоснежных рубашках, галстуках, вишневых и малиновых пиджа-

ках ажитированно сновала туда-сюда в офисах банков, коммерческих контор среди прилежно склоненных за компьютерами, отглаженных и плиссированных городских девочек, и из мраморных подъездов с деловым видом и полнейшим самодовольством на уже круглых мордасонах отъезжала на «мерседесах» и «ауди», а я по-прежнему был о т т у д а, из деревни, от этих изможденных морлоков, беззубых, тощих, прокуренных и промасленных. Я только чувствовал, что постоянно голоден, никому не нужен среди этих двух третей, занятых первоначальным накоплением. Те, от имени которых я представлялся, служили объектом насмешек со стороны евреев-остроумцев, деятелей разговорного жанра: они потешались над народом-дураком и принимали его обожание. И чем больше было выглядывавших из киосков и восседавших за прилавками, чем зеркальнее блестели витрины супермаркетов, тем энергичнее меня в ы г о н я л и из жизни.

Развязавшись к тому времени с парой-тройкой шлюх, изображавших из себя интеллектуалок, я особенно четко стал понимать, что все это – наносное, пена, а настоящее по-прежнему коренится в природе. Природу не заботит, как обменять коммуналку в Гольянове на двухкомнатную квартиру в Яхроме. Поскольку 99% моего окружения знали и могли совершить такой обмен, а я – нет, я и поехал на природу. И почему-то нравился именно такой маршрут пригородной электрички: половина на Рыбинск, на север, половина на Владимир, на восток. Вытalkingаясь на первой понравившейся станции, в тишину, наступавшую сразу после гула ушедшей электрички, ныряя по тропе под кроны разреженного леса, я с горечью убеждался, что живу не в своем ареале. Как та лесная рысь, которую занесло в южные дубравы. Не желудями же ей питаться, Господи прости. Точно больной, я ходил по этому гадкому подлеску, среди пустых молочных пакетов и пивных банок, срывал желтый первоцвет и лиловую медуницу, припорошенные, словно пеплом, сухими осадками ТЭЦ (давненько не мочили дожди), и чувствовал, что как бы теряю пол, меняюсь на женский. Хотя первоначальное-то стремление заключалось как раз в обратном: избавиться от этих грязных ляжек, титек, уст, денежных разговоров, радио- и телепроституции, прорваться сквозь них к тому нормальному, что чует даже рыба, когда ищет стремнину почище. Пока же я был худ, бледен, немочен, как эти припорошенные осадками ТЭЦ блеклые весенние подмосковные цветочки. Всё внутри и вокруг казалось грязным и запущенным, как внутренности дома, обреченного на снос: рваные обои, штукатурка, затхлый запах развороченной кирпичной печи, собачьи экскременты по углам. Многие тысячи родов, безвыездно живущих по вологодским и смоленским деревням, растущие так же, как трава и деревья, и так же не склонные к перемещениям, их опыт убеждали меня, что здоровье и красота, конечно, в том, чтобы босиком с веником и тазом под мышкой каждую субботу по росистой траве ходить в баню. Я все еще был здоровый и органичный, объект насмешек для деятелей массовой эстрады, и, в свою очередь, сам считал чокнутыми тех, кто способен сутками ковыряться в моторе или программировать новые картинки на компьютере вместо надоевших.

Но на платформе Осеевская или на берегу опрятной речки Учи не находилось исцеления в полноте. По большому счету, если уж так потянуло к земле, следовало накопить денег и купить дачу и участок. Но в том-то и дело, что в сорок с хвостиком я был голый, гонимее жида, завоеванного ассирийцем, не в ладу с общепринятым московским образом жизни (квартира в городе и дачный участок за городом). Более того, меня не интересовало вписываться в их инфраструктуру, меня интересовало – выпадать. Перемены были не столь уж кардинальны, первопрестольная по-прежнему спала, купчиха в расписных своих теремах, но я-то был м у ж ч и н о й и е в р о п е й ц е м. В простоте душевной я, выгоняемый, питал иллюзии, что, может, и здесь удастся остаться мужчиной, а не стриженным цивилизованным пуделем в бархатном комбинезоне на шелковом поводе... И эту иллюзию тотчас решил претворить, поймав щуку хоть в той же Уче. Четыре часа я забрасывал лесу в ее кувшинки и даже выудил нескольких больших бледных окуней и уклеек (когда потом вспарывал брюхо, убедился, что они и впрямь

больны: глисты и какие-то белые пятна по телу), но испытал только досаду: я н е л ю б и л эту реку и эту местность. И этот город. И весь этот водораздел вплоть до Каспийского моря и Тегерана. Всё это было не мое, чужое, чуждое.

Неужели же должен был жить там, где родился?

Я вспоминал иных друзей и приятелей, персон и мелких служащих, прикидывал так и этак: получалось, что от места рождения успех не зависит. Борис Ельцин был с сибирского водораздела, а сидел на Москве-реке – и ничего. А одна дама была местная уроженка – и тем не менее дура. Принадлежность к волжскому бассейну не добавила ей ни капли мозгов. Напротив того, Е., который по месту рождения должен был стекать чуть ли не в Южно-Китайское море, меня уже пятую квартиру – и все в пределах Садового кольца. Следовательно, хотя от корней оторван и с родственниками не живу, не я же один такой, и далеко не всем оторванным такая невезуха. Другое дело, что, будучи оторванным и не в своей тарелке, не в своем ареале, не в своем городе, я все-таки хочу укрепиться, укорениться. Кто же меня достает, выгоняет на эти лесопарковые дорожки, в эти электрифицированные местности, от которых так и веет скукой исхоженности? Очевидно, мыслил я с прилежностью параноика, раз в П о д- московье, то те, кто собираются быть хозяевами в Москве. И конечно, не Ельцин, которому не долго царствовать, а люди помоложе, в малиновых пиджаках. Я для них дурак, старообрядец, отживший элемент – в Подмоскowie на даче ему место. И это несмотря на то, что по милости их дешевой новизны я до сих пор не проявлен и не блещу. Вот блещет эта всероссийская ведьма, заместительница Емельяна, а я не блещу.

Ибо тяжел в общении.

Итак, после нескольких поездок до меня дошло, что я пытаюсь утешиться театральной бутафорией. А душа требует подлинной природы, действительной народной жизни, а главное, включенности в процесс. Насчет включенности – об этом я подумал позднее, когда нашел работу; больше того, я тогда понял, что у нас в стране только включенный – заключенный и свободен. Но и об этом – после.

А пока, как только я понял, что лесные просеки под Ивантеевкой меня не спасут, но что амплитуда моих кросс-поездок должна быть шире и богаче, как только прикинул, что если обзавестись удостоверением инвалида, то даже при безденежье можно выскакать за пределы области, не входя в большие финансовые расходы; как только понял, что если, правда, не двигаться, то ребята в малиновых пиджаках и согласная с ними моя дочь, о которой ни слуху ни духу вот уже несколько лет, запросто отправят меня на кладбище, это меня-то, которому только сорок с хвостиком, как только до меня дошли эти закономерности взаимоотношений отцов и детей в стране России, где тот не велик, кто своих детей не поубивает, и тот из молодежи не силен, кто своих предков на погост не спровадит, – словом, кое-что обмозговав, я решил стать совсем европейцем и путешествовать методом автостопа. О том, чтобы купить машину, мне с моими и н ы м и задачами можно только мечтать, но пёхом и на попутках я могу объездить и весь свой милый Север, и столь притягательный, любимый Запад – до границ Белоруссии (а также Юг, который не люблю, но хотя бы до Тулы, и Восток).

Поверите ли, я, голодный, отчаявшийся человек, ощутил впервые предпосылки душевного спокойствия.

Черта лысого вы заставите меня сдохнуть, когда я еще не реализовал себя!

Разумеется, поведи я себя таким образом, будучи жителем наркоманного Копенгагена, или Берлина, или Парижа, меня бы поняли: там пренебрежение ценностями цивилизации уже вроде как признак хорошего тона и аристократичности. Но я-то живу в самом сердце Азии и очень хорошо понимаю, что первые же проявления такого рода свободы ставят меня на один уровень с кочующим цыганом или бомжем, у которого, к тому же, сифилис. Наши азиатские ценности как-то так поставлены, что переночевать на открытом воздухе – значит в глазах общественного мнения и оценщиков от цивилизации вывалиться в грязь. У нас самый цивилизо-

ванный – это самый недоступный гражданин (преимущественно в Кремле). И еще он должен быть наглым и злобным, как кабан. Вот тут уж наше вам почтение – все двери перед ним открываются. Действовать по принципу «раздражитель – рефлекс» и значит быть сильным. Я же таковым становился лишь в естественных условиях – в лесу, в поле, в маленьком городе. В Москве от прямых реакций не было толку – я хочу сказать, от прямых, естественно человеческих. Сидящий за рулем и воспринимался как стальной, железный, автоматический; у меня и желания-то никогда не возникало подойти к такому. Другое дело, если б мне самому удалось облечь себя железом: средство-то передвижения, что ни говори, мне нравилось, для моих целей годилось, вот только накопить достаточную сумму мне вряд ли бы удалось. Для меня, голого моллюска, это было больно: иерархия ценностей в городе была иной; некоторые из этих «железных» с их телохранителями, замками, сейфами, цифровыми кодами, секретами находились от меня, идущего пешком по улице, бесконечно далеко. Их охраняли, а обо мне заботился лишь Божественный Промысел, причем я не всегда правильно оценивал Его разъяснения.

Но в определенную минуту Он твердо сказал: «Не хлебом единым жив человек» – и я поехал смотреть, насколько прекрасен и гармоничен мир.

11

Но первые опыты такого исследования прекрасного божьего мира были и неудачливы, и бессознательны. Помню, сколько раз наобум и бессознательно заезжал в район Ивантеевки, не доезжая реки Учи, выходил в Валентиновке или на платформе 5-го километра и шел в дачной местности с километр на берег мелкого пруда. Это был дрянной пруд, вырытый, очевидно, на месте песчаного карьера. Смех ситуации состоял в том, что в трехстах метрах от квартиры, где жил, был точно такой же даже в очертаниях мелкий пруд, но ивантеевский понравился отчего-то больше: должно быть, тем, что можно было пройти дальше в лес, и там все дорожки были усыпаны белым мелкоцветием земляники, по берегам же моего гольяновского пруда ничего не цвело. Я понимал, что езжу врачевать душу, за тишиной. Я обходил пруд несколько раз по окружности. На его берегах купались, удили ершей, из распахнутых, точно разобранные постели, дверец автомобилей неслась музыка, и раздетые жирные домохозяйки подкреплялись куриными окорочками, жир стекал по пальцам. Отчего-то на этом пруде было постоянно ветрено, а по берегам – глина и грязно, так что я ни разу не рискнул искупаться. Я еще боялся всего натурального, не доверял ему, считал «грязным»; даже бледно-желтые первые земляничины, когда заглатывал их вместе с завялыми чашелистиками, были не вкуснее соленого арахиса к пиву. Разложить в лесу костер я не решался, а просто кружил по его тропам, стараясь ориентироваться на гул проходящей электрички. Почему я зачастил в Ивантеевку, было непонятно. Я этимологизировал, и получалось так, что Валентиновка – это от Валентина, а Валентин – от здоровья; Ивантеевка же с моей фамилией вполне вязалась, и даже было там что-то от деуса: Иван+Деус. В общем, что-то там Ваня делал. Учил меня, тем более что рядом протекала река Уча. И вот я с тупой готовностью и хмурыми сумерками в душе учился у него действию. Всё очень просто: мы в сфере знаковости.

Значения названия вползали в разум, вкрадывались в сознание, но отнюдь не будоражили его. Я еще даже не интересовался прекрасным внешним миром, а просто, как выздоравливающий больной, из палаты наконец-то выбрел в больничный сквер. Грусть была несусветная, а бодрости, оживления, возбуждения – никакого. И почему я постоянно в эту местность ездил, было непонятно. Это было городское турбулентное движение, очень четко разделенное; так же, например, с электрички народ разливается тремя основными потоками: самый большой – в подземку, в воротную вену городского кровотока, поменьше – в прилегающую улицу и частью в вокзал, на другие поезда. Меня как бы все время прибывало волной, прибоем, как палый лист. Тем более что ветвь железнодорожного сообщения была тупиковая,

электричка вскоре утыкалась в Фрязино и далее не шла. И на маршруте были еще Подлипки, которые я производил от слова «подлость», и Болшево – от слова «большой». И вот, проезжая через Большую Подлость, я выходил в Иван-Боге и отдыхал на этом пруде. И вероятно, это повторялось с ранней весны, когда еще только сошел снег, потому что берега пруда могли быть глинисты только в эту пору, и до сенокоса, потому что помнится случай, когда я сошел не на 9-ом километре, а проехал до платформы «Детская» (со страхом, надо признать, проехал, как, например, больной, который из больничного сквера выглядывает за больничную ограду на улицу: не дерзнуть ли пройти до магазина?). И там, выпроставшись из пустой электрички и немного пройдя худым березовым перелеском (дело было сильно вечером, когда после жаркого дня уже встает молочный туман), на широкой поляне увидел такую картину: высокий старик в белой рубахе навывпуск, простоволосый, седой, заботливо, спокойно, важно, с удовольствием тюкал коротковатой своей косой высокую, до подмышек, здешнюю траву. Одна приземистая копёшка, накрытая от росы полиэтиленовой пленкой, у него была уже сложена, и вот он по вечернему холодку подкашивал траву назавтра, чтобы было что сушить, так как день, скорее всего, опять будет жаркий. И вот этот старик, носатый куркуль, в глубокой тишине безлюдного вечера, наступившей, как только вдали прогрехотала электричка, тюкал и тюкал косой толстый пырей с таким задумчивым и углубленным видом, что я на него залюбовался, прислоняясь к последней от перелеска березе. Ни козодой не блял, ни птички не порхали, ни комары не толклись, только на всей этой великоватой поляне среди мелколесья свистела, как змея в сухих листьях, его планомерная коса. Я так и понял, что он сейчас думает о своей пестрой удойной корове с заботой и любовью, как она станет это ароматное сено, немножечко с железнодорожной пылью, аппетитно жвачить.

И мне вдруг подумалось, что вот это и есть правда. Последняя правда крестьянского трудолюбия вопреки всякому окружающему сатанинскому беспокойству. Туман опускался теплый и еще не мокрый, как бы конденсат летнего полдня. Мне было не очень приятно видеть здесь отца моей несостоявшейся жены, потому что я понимал, что если в Москве отважусь пойти к нему, он меня не впустит. «Ты приезжий». – со злобой сказала его дочь. Я знал, что я приезжий, но ведь и он был чертежником, а вовсе не крестьянином, и этот, хоть и косил на корову, не был моим отцом. Носатый сухопарый старик, земледелец, хуторянин, из тех, которые забили хуй на все, кроме личного подворья. Поэтому, помимо мирной картины сельского трудолюбия, я ощутил и определенное раздражение так грубо поставленной проблемой: там, у чертежника, не твой отец, и его дочь – не твоя сестра, а вот чем, скорее всего, занимается сейчас в вологодской деревне твой настоящий отец.

Упрек я воспринял, вечерней идиллией умилился, но к отцу ехать не захотел, несмотря на яркую иллюстративность явленной правды. И даже испытал недоверие, такое же, как от лепестков цветущей земляники.

Следовательно, я ездил сюда всю весну и пока не вымахала трава. И однажды, Бог весть почему, захотел заночевать: первая попытка улизнуть в прошлое, вновь прикоснуться к тому образу жизни, который вставал в романтических воспоминаниях о деревне. Я потому и заехал сюда уже ночью, на последней электричке. И тут же, в сухой лощине, под насыпью, решил зажечь костер и у костра заночевать. Это и исполнил, натаскав сухих, мелких батоков сирени и рябины. В душе вздымалась просто паническая тревога, себе я казался святотатцем. Мотив же поступка был тот, что, может быть, таким образом я исцелюсь от своей несчастной любви к этой сильно верующей, распутной, красивой и очень желанной женщине (вдвоем с отцом они занимали большую квартиру неподалеку от универсама «Таганский»). Я к тому времени до того измаялся со своим чувством, что любое решение проблемы меня устраивало. (Странно тоже, почему Ивантеевка? Ведь в области вполне нашлось бы село, совпадающее с ее простой русской фамилией. Там бы вроде и заночевать...). В ароматной ночи костер бликовал так ярко и приманчиво, что я боялся, что кто-нибудь нарушит мое сосредоточенное одиноче-

ство. И правда, вскоре пожаловал шеголеватый одетый гражданин, потом бомж со своей сильно пьяной подругой (эти двое даже пособляли таскать хворост с той домовитостью, что становилось ясно: они сами часто проводили ночи подобным образом). Я чего-то панически боялся и потому – от страха – много шутил и ерничал. Я боялся, что меня в эту ночь просто прирежут, беззащитно, растерянно смеялся, а когда появился, наконец, милиционер, даже обрадовался ему. Бомжи исчезли воровато, тихо, профессионально, точно их отнесло движением воздуха. Я показал проверщику порядка удостоверение, свидетельствующее о моем значительном общественном положении, объяснил, что опоздал на электричку. И хотя он молча вернул его и молча отвалил, после его ухода разбросал костер и пошел в город.

Я брел среди ночных стандартных многоэтажек, заходил в подъезды, грелся у батарей вместе с кошками (еще топили), слушал, как шуршит мусор в трубе, поднимался на любой этаж. Был бездомный среди чужой жизни. Я именно боялся всего – взгляда любой бабы, проходящей по лестнице, любой крупной собаки, а подвыпивших парней – панически, только что не дергаясь в истерике. Ночь все длилась и длилась, фонари светились как целлулоидные – мертво, матово. Я не мог бы здесь жить. Это было как зверинец: клетки, замки, решетки, сторожа, рев позднего телесериала из квартир. Как они могли здесь не только существовать, но и любить? Я только что грелся у костра, и огонь был живой. Всё же это цементное крошево было изначально мертво.

Я обошел многие подъезды, выслушал не один упрек, но во дворе было так холодно, что я торчал у теплых батарей, пока позволяла совесть. Пройдя в один конец микрорайона, возвращался обратно, дрожа и борясь с ознобом. Это было невыносимо, и я решил лучше уж привыкнуть к холоду, чем кочевать (почему-то не хотелось располагаться на лестничной площадке возле мусора, кошек и чужих постелей). И перед каждым встречным гулякой я изображал почему-то запозднившегося горожанина. Я чего-то искал.

Из земли в час вечерний, тревожный

Вырос рыбий горбатый плавник.

Только нету здесь моря.

Я понимал, что нелепо – располагая жильем, ночевать на скамейке, но не на полу же возле мусоропровода! И я пошел ее искать. И забрел в парк, слабо, только у входа, освещенный несколькими фонарями; и там, на узкой аллее – двоим не разминуться – обнаружил сразу несколько. Я сел, нахохлился в воротник, освобождено вытянул ноги. Дальше, в глубь парка, идти не рискнул, а эта скамья была хороша тем, что еще и подсвечивалась прожектором из-за ограды какого-то завода (эта женщина, связь с которой была бурная и бестолковая, работала на заводе). Я чувствовал себя глубоко несчастным, отвергнутым, и не только ею: отвергнутостью общей, бесприютностью томился я. За ночь мимо протопали только двое бесстрашных и трезвых парней, у одного из них я спросил, что там дальше, за лесом. Там была станция Клязьма и город Пушкин. Мне – хоть это наивно прозвучит, – стало отчего-то ободрительно, что тут в округе оказались Лесные Поляны, Зеленый Бор и вот поэт Пушкин.

Сна не было ни в одном глазу, и не было всю ночь. И как только чуть посветлело и в мертвых окнах кое-где зажглись мертвые же утренние огни, где собирались на работу те, кому с ранья, я вернулся на платформу и до первой электрички опять обогрелся возле того же костра. Была весна, и вокруг было столько банок, пакетов, бутылок, коробок, бумажек, окурков, фантиков, сучков, жухлой травы, шелухи орехов и семечек, целлофановых мешков, презервативов, фольги из-под таблеток, отпавших почек, пуговиц, ломаных расчесок и авторучек, стоптанной обуви, автопокрышек, что не на чем взгляд остановить.

В тот год я не то чтобы не работал, а – не был постоянно занят. Казалось, все высыпали на улицы торговать, и все по мелочи. Идешь утром в семь часов – стоит какая-нибудь бледно-голубая старуха, предлагает бутылку водки и пачку сигарет, возвращаешься в семь вечера – стоит она же с тем же предложением. А у выходов метро и возле Щелковского автовокзала таких старух стояли длинные шеренги. От праздности и неприкаянности (потому что на работу никуда не брали) я, поскалывая утречком лед или сдав ночную вахту напарнику, повадился, лишь завернув домой перехватить супцу, уходить в парк Лосиный остров. В XIX веке там еще стрелялись на дуэлях и охотились на кабанов, но и в конце XX было на удивление безлюдно (как-то раз, заметив время, я за сорок минут не встретил ни человека). Кольцевая автодорога расширялась и с обеих сторон лесопарка, который она пересекала, была огорожена от любопытных двухметровым забором, но я находил привычный пролом и углублялся в лес. Впечатление от природы было самое болезненное, мучительное, как от какого-нибудь Анри де Ренье. Это была не природа, а бледная немочь. Даже лосиные какашки не впечатляли, даже курлыканье ворона не влекло (жила там пара на просеках возле живописного хутора в тылах деревни Абрамцево). Углубляясь метров на триста за дорогу, я обычно останавливался и слушал. Вот так же бы утробно гудел, наращивая децибелы, атомный реактор, начавший взрываться, так же бы пламенел и ухал железнодорожный состав с бутаном, пропаном и сырой нефтью, ежели бы взорвался внутри километрового туннеля этак на его середине, так же бы испускал дух уже на земле реактивный бомбардировщик на одной низкой ноте, как эта автодорога: у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Точно это был какой-то издыхающий дракон, и потому даже в полукилометре от него каждый тополь мертв. Это чудовище с крикливым самоназванием мегаполис было больно, и возвращаться туда не тянуло. Но и лес был ненатуральный, ветхий, гниlostный, как если бы ушла заплесневелая вода из Гольяновского пруда и обнажила грязное дно: нечем тут было любоваться. А эти полоумные москвичи еще ходят сюда собирать какие-то грибы – рядовки (отродясь не слышал такого названия! Рядовки – это, должно быть, потому, что выстраиваются в ряд, как дома вдоль улицы или солдаты по команде?).

Я ходил к этому хутору еще с весны, по насту; его многочисленные собаки уже начали меня узнавать, облаивая вполне добродушно, однако пройти далее долго не решался – не по отсутствию интереса, а от усталости, по безразличию: и эти-то вылазки казались большой дерзостью. Про таких говорят: пыльным мешком из-за угла пристукнутый. Я именно как бы не располагал сведениями о своих возможностях и покорно через час-полтора возвращался в пасть дракона, чтобы поискать обьедков у него меж зубов или в пищеводе. Но с каждой прогулкой просыпался, расширял пройденные ходы, как точильщик. Безучастно лирическое настроение потом оформилось следующим допущением: наверное, у этого лесопарка есть свое хозяйство, службы, контора. Хорошо бы поступить туда на работу. В Сокольниках, и правда, оказалась контора со множеством клерков и даже газетенка со злобредным евреем Вайсманом во главе, но ни в контору, ни в газету меня не взяли, а отправили в лесничество. В лесничество я по душам поговорил с борзыми, деловыми и румяными парнями и, так как в работе они мне тоже отказали, украл книжку Ги де Мопассана в мягкой обложке: все равно она там у них была единственная художественная на их скудной полке. Я именно отчетливо понял тогда, что никому не нужен, везде буду выслушивать участливое «извините», ото всех этих з а н я т ы х и озабоченных людей скупать их жалобы на загруженность работой, низкие расценки, сверхкомплектованность штатов, карданный вал, который полетел, порубки, которые не сделаны. Я был Иисус, священник, исповедник, писатель; я приходил чего-нибудь заработать, а они мне исповедовались в том, как трудно им живется. Получалось, что эти отказывают, основываясь на том, что я писатель и зачем мне не своим делом заниматься, в редакциях же, не спрашивая о номинациях, сразу же возвращали рукопись: «У нас теперь капитализм, литературным заработком не проживешь».

А я еще даже не догадывался, что ни те, ни другие не виноваты, а лишь прокламируют отношение к моей персоне моего же рода. Это Ивины издевались: если ты писатель, отчего тебя не печатают? Если ты рабочий, отчего не принимают на работу?

1У

Там совсем нечем было поживиться, в этом национальном парке. Однажды забрел на болото – и даже изрядно на нем побродил, но не нашел ни клюквины. Повсюду рос черничник, но не было случая, чтобы я обнаружил ягоду. От такой природы – камуфляжной – меня тошнило, но подходя к дому по Уральской улице – метров триста среди людей и машин – и ее благотворное воздействие старательно сберегал. Я понимал, что живу, как трусливая мышь, но к людям меня не тянуло, точнее – тянуло к н о в ы м людям. Наверное, так же определяют моральный износ хоть того же шарикоподшипника: он был именно моральный.

И вот однажды я поймал хвост фортуны, нечто начальное, после чего ассоциации с родней пошли сплошняком. Парком, привычной тропой я прошел много дальше и лесом же вышел к еще одному хуторку: несколько строений барачного типа и силовой трансформатор на окраине. Все это дело золотило солнцем на милой лиственной поляне и являло как бы оазис сельской тишины (тот, возле Абрамцева, успел наскучить). Я проявил детский интерес к плодам земли, впервые после некоторого перерыва увиденным: по-моему, это была черноплодная рябина (арония); но не она и ее вяжущие плоды умилили, а – черемуха. Дело было под осень, деревце низкое и – видно, сюда не наведывались мальчишки, – увешено спелыми ягодами. Не выходя еще вполне из леса, потому что не очень хотел видеть людей (такова и была бессознательная направленность – укрыться), сорвал несколько нижних кистей и съел. Съел и понял, что уже боюсь даже ягод. Никто не поверит: я опасался, что, скушав натурное, опрошусь, а мне в те дни только-только показывали леерный павлиний хвост успеха (публикации в журналах «Дружба народов» и «Московский вестник»). И вот я съел черную ягоду, потом еще одну. Потом заглянул за штакетник первого дома (по виду такие, крашенные блеклой коричневой краской, часто охраняют железнодорожные разъезды). На залке за оградой было накидано свежих сосновых чурбаков. И одна старуха колола эти дрова, а другая, сидя на лавке сбоку, с ней базарила. Это были моя тетка по матери и бабка моей бывшей жены. Бабке моей бывшей жены было в ту пору за восемьдесят, а тетке – около семидесяти. Я понял, что это они – п р е д с т а в и т е л ь с т в у ю т. Знакомы они не были, но сама комбинация показалась мне смешной. Тетка выглядела привлекательной, бодрой и отнюдь не больной старухой (здоровая старость), а бабка – раз она в этом возрасте колола сосновые чурки, да еще в жарковатую погоду, – тоже произвела благоприятное впечатление. Я с ними поздоровался: «Труд на пользу». Тетка заблестела на меня очками и охотно отозвалась, в глазах стояло задорное любопытство. И я впервые почувствовал себя так, как если бы Москвы не было, а я тропой национального парка выбрел к своим, к родным, к похожим, к приятным. Это было первое по времени из генеалогических сближений, и оно меня обрадовало. Я объел черемуху и, пройдя дальше, нарвал аронии, чувствуя себя ребенком. Вот такой озорник – к бабке приехал на каникулы. Правда, дальше пошла асфальтированная тропа и подвела к контрольно-пропускному пункту: стальная ограда, будка, солдат. Налево дальше виднелись безлюдные казармы и сооружение, похожее на бетонированный дот. Мне это все сразу разонравилось до того, что, только чтоб не прослыть чудачком, я не повернул обратно и не попер опять лесом. Перейдя неширокое пустынное шоссе, я через кювет вошел дальше в лес и там очень скоро оказался на берегу пруда. Там стоял автомобиль, двое немолодых симпатичных горожан (она в брючках, он с бородой) со своими детьми-подростками как раз укладывали удочки, складные стулья, одеяла, на которых загорали (вечерело, но день был очень хороший для загара).

Я с ними познакомился, стал расспрашивать дорогу. Они очень смеялись, когда я сказал, каким путем сюда попал. Оказалось, что это окрестности города Калининграда. Они предложили подвезти, и это был опять первый случай, когда я в п и с а л с я во внеположное (в чужую семью).

«Вот бы мне так: искупаться, порыбачить, детей повоспитывать», – мрачно думал я, возвращаясь ревущими улицами в их авто. Близости к ним я не ощущал и отвечал неохотно. Их счастье и крепость их уз как-то напоминали жилую секцию в панельном доме: блок.

Но люди были симпатичные.

КАЛИСТОВО



тропа на Митрополье

В Калистове, на тихой платформе на полпути к Сергиеву Посаду я выходил из любви к имени Каллист. Там и правда сразу за путями и будкой стрелочника виднелся за поворотом шоссе милый редкий перелесок, за ним поле и деревня. Помню, что пошел по кромке поля в виду деревни, потом опушкой, чтобы не замечали из деревни, но папоротники, широколиственные травы, клены, дубки и прочие не любые северянину деревья до того почему-то не поглянулись, что с досады не стал даже углубляться в лес. Это было не то: я тосковал по тайге, а мне предлагался бутафорский задник в подмосковном драмтеатре. (Я почему-то активно недолюбливал всю природу ближнего Подмосковья, кроме Мещоры, все время, пока по нему путешествовал). Если бы я знал, что там дальше усадьба Мураново, я бы, может, туда дошел, но в тот раз я бродил без карты, поэтому, невзлюбя широкую, как слоновьи уши, растительность, таки воротился ближе к железной дороге и почесал обратно к Москве. Ходил там, ходил, в этих бесчисленных ашукинских дачах, которые как раз активно удобрялись (запах навоза стоял плотный), и чувствовал, что всему этому чужой: это был пир собственников облепихи, «жигулей», дач-теремов, гряд (по-моему, стояла осень после сбора урожая, дачники готовили компост). Я произвольно кружил узкими изворотистыми дорогами и часто вредничал, останавливаясь, чтобы объесть неубранную сливу. (В одном живописном углу возле серой, в лапу рубленной, полтораэтажной нежилой дачи торчал, помню, полчаса: слива стояла очень удобно, не была

огорожена, и я ее вчистую объел, мучаясь одновременно угрызениями совести и предполагая в дальнейшем от столь низменного воровства снижение социального статуса; но жаль было, правда, этих сочных плодов, да и соседи помалкивали). У меня помаленьку складывалось тогда впечатление, что я мог бы из этих путешествий извлекать немалую пользу; плохо только, что московские бездомные промышляли в то же время тем же; так что, странно сказать, воровством я не злоупотреблял, а рябиной и аронией даже брезговал.

В тот ли раз, в другой ли, но только, помню, в большой дождь вышел к каким-то прудам и там на плоту в плавучей будке провел час с каким-то спасателем на водах и его женой: шпарил дождь, пруды рябили, как худой стальной дуршлаг, а этот парень накидывал дровами открытую жестяную печь и на ней, сняв пару круглых конфорок, жарил мясо на сковородке. Он и его невзрачная мокрая женушка жарили мясо под большим дождем, хотя навес располагался в нескольких метрах, и я вышел из лесу на запах вкусного дыма. Спасать тут было решительно некого, но они моим заявлением возмутились и с апломбом сообщили, что в жаркую погоду тут полно купается пионеров и пенсионеров и что их наняли за честную плату, потому что один потонул. Это были романтики. Я понял, что эти двое чокнутых и, немного не в себе, очень вежливых людей – романтики, что они любят друг друга, поедят сейчас мяса с дымком и, когда дождь кончится, и я уйду, займется любовью в хижине.

Вокруг не было ни души. Я запустил несколько принесенных с собой еловых шишек, но не в пруд, чтобы не замусоривать, а обратно в лес, и пошел от них в темной досаде от того, что столь многие мои сограждане ухитряются совмещать приятное с полезным. Я же понимал, что с каждой ворованной сливой становлюсь все более деклассированным.

Но Калистово полюбили, или я в этом углу чего-то недопонял, так что, вероятно, через неделю опять сошел поблизости – в Софрине, прошел город по бесконечно длинной и кривой улице и через некий переулочек и заболоченный ручей вышел в неприятное, комковатое, развороченное пахотой поле. Движение было интуитивным – быстрее и, желательно, с большими видовыми красотоми уйти подальше от горожан. Опять была высокая трава, заболоченные местности, кусты, просеки – я именно блуждал с целью забрести в покойное состояние отдохновения. Но всё было не то: не те породы деревьев, не те дикие сетчатые орляки, тощие клены, тополя, худые осины не той породы, что росли у нас на Вологодчине, и в метровой сивой траве – мухоморы и свинушки величиной с обливное блюдо. Я этого леса не понимал, трети деревьев и кустарников не знал по именам. Да еще встречные и попутные пешеходы то и дело сновали по дикой вроде бы тропе.

Разумеется, я пробовал свертывать в лес, не обрящу ли там похожее, чему любил внимать посередине присухонских лесов, но отрады не находил. Или еще нервничал?

В большой, дачной, справной, в гаражах и садах, деревне Митрополье я никак не меньше четверти часа искал человека спросить, как называется деревня, пока какой-то авто-владелец, ковырявшийся в распахнутой внутренности своего мотора, не ответил, но так хмуро, нелюбезно, что я поскорее отошел, обращая другой вопрос уже не к нему, а как бы к небесам:

– Митрополье? Какое интересное название! Гм, гм... Значит, должны быть где-то и колонии.

Шофер матюгнулся, и я ушел от него непросвещенный. Однако, уже выходя, нагнал какую-то бабенку и к ней с тем же вопросом обратился.

– При чем здесь колонии? – удивилась она. – Деревня раньше митрополиту принадлежала, вот и Митрополье.

– Ах, ах, смотри-ка, как интересно. А ведь и правда, тут же кругом церковные владения: Сергиев Посад...

– Софрино...

– Софрино. Смотри-ка ты, какие богатые попы. А там дальше что?

Дальше она не знала. Меня это устраивало, и я пошел дальше, а она погнала свою красную корову-первотелку пастись за дорогу. Проходя берегом глухого, в крапиве, бурьяне и ракигах, весьма смрадного ручья, я увидел на черемухах мальчишек, и это опять меня воодушевило: дерево под названием «черемуха» я знал и любил, хотя ягоды у него не больно сытные. Я шел непознанной тропой в энтузиастическом настроении и, помню, на кромке поля по примеру детей застрял на час, поедая черемуховые плоды: уж больно низко и соблазнительно они висели. Ел-ел, ел, пока не набил оскомину, но зато как будто ощутил некую длительность пребывания: точно держась за ее узкие листья, серую слоистую кору и душистые ягоды, я привязывался к некой устойчивости. Я тогда так и представил: вот она, черемуха, растет из земли, и я к ней привязался. Утешало, что она никому не принадлежит, в отличие от сливы, и, главное, что сельские мальчишки тоже предпочли дикие плоды, хотя у каждого, небось, полно в огороде окультуренных. Я бы и бессовестнее наелся, но впереди ведь могло оказаться и что поинтереснее, а уже вечерело. Дальше опять пошли какие-то картофельные посадки, фанерные будки картофелеводов. Кромка длинного поля, вдоль которого я шел, заросла теми здоровенными деревьями, которые я еще не различал тогда (вязами), а справа вонял все тот же ручей. Уже спускаясь к нему, я наткнулся на заросли орешника, и уж на сей-то раз дал волю жадности. Все орехи оказались неспелыми, и когда в Москве на своем письменном столе я их колот молотком, то вдосталь посквернословил, потому что так называемое «молочко», до которого в средней полосе созревает лещина, не насыщало, а только сердило меня, как лису – угощение в кувшине. Мне было сорок лет с большим хвостиком, а я впервые собирал орехи (и вы думаете, читая подобные же сцены у Льва Толстого в рассказах, я мог себе их достоверно представить?).

Так что удивляться никогда не поздно. Если в музее Прадо – не на что и нечему, то вот, в ближайшей окрестности, – пожалуйста.

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ



Ж.-д вокзал в г. Великий Устюг

По тому маршруту, через Никольск и Бабушкино, уже лет двадцать в гости наезжала сестра, а я в ту северо-восточную сторону один раз только до сих пор и был. До меня только-только в ту пору дошло, что надо застолбить и о т м е т и т ь (от слова «мета») тот путь, хоть налегке и в автобусе его проехать. Как поступают собаки, когда и при встречном движении, и след в след они отмечают свое присутствие. Пусть я движусь в этом цельнометаллическом коробе, в комфортабельном откидном кресле – уж на станциях-то я точно отмечусь и подышу местным воздухом. Но когда покупал в Вологде на автовокзале билет (до Бабушкина, на 1/3 расстояния, на которое на самом деле собирался ехать: экономил), я и не предполагал,

что это будет столь изнурительная поездка. Подумал, что планы еще изменятся и, может быть, выйду в Тотьме, хотя к родным ехать не хотелось.

До Чекшина, где шоссе М-8 идет на Верховажье, считал все деревни и речки, заканчивающиеся на «га» и «ма», и думал о коми-суффиксах и этнических связях со Скандинавией, но потом, когда свернули на Тотьму, отстал от этого занятия и начал бояться, что если после Бабушкина в салоне возникнет контролер, мне несдобровать. Но потом решил, что это будет даже интересно: выпихнут где-нибудь в Кичгородке, пойду в редакцию, навешаю местным газетчикам лапши и возьму в долг тысяч пятьдесят.

Цель-то была одна: переместиться в пространстве, в сутки объехать это, в половину Великобритании, лесное, волнисто всхолмленное место, и не знать определенно, где проведешь ночь: денег-то в обрез. Важно, чтобы пространство шло, мелькало, оставалось позади, а между тем всегда оставалась возможность выйти и остаться, если уж местность сильно поглянется. Главное, после стольких лет сидячей, привязной жизни в душе возник даже страх греховности замысла. Как у канарейки, которую вынесли в сад, а дверку приоткрыли: не посмеешь улететь, трус, нежизнеспособен.

А я вылетел. И про клетку уже на Ярославском вокзале в Москве забыл. Но страх невыносимой вольности всю дорогу меня сопровождал. Так в детстве нравилось ночью, при луне, когда и последнее окно в деревне погаснет, отправиться по призрачному полю к светлой роще, чтобы хорошо, до костей продрогнуть и вдоволь набояться, стоя в настороженной тишине и вслушиваясь в каждый шорох травы, в каждый плеск на речной отмели. Разница заключалась в том, что тогда я действовал из любопытства, а сейчас – из необходимости. Необходимость заключалась в том (сейчас объяснюсь, если не запутаюсь), чтобы п е р е у т в е р д и т ь с я. Влюбленные, которые ходят под окнами дома, где живет их зазноба, мститель, поджидающий врага на его путях, меня поймут. Побывав в местах, где живет человек, от отношений с которым ты хотел бы избавиться, ты этой цели чаще всего достигаешь: я намеревался выяснить и переменить отношения дистанционно, не доезжая этак километров сто. О порче и сглазе в этой параноидальной стране уже вовсю болтали по радио и телевидению. Порчи, может, и не было, но я знал, что правильно поступлю, если таким вот образом от этой поляницы и буйтур-Всеволода в юлке отделаюсь. В девятнадцатом веке, при начале дагерротипии верили, что на пластине запечатлевается невидимая эманация души. Так что, как знать, не запечатлелась ли на стенах какой-нибудь кичгородцевкой забегаловки, вытертой спецовками трактористов, душа этой рабоче-крестьянской особы: моей сестры. Этого будет достаточно, чтобы перестать о ней вспоминать и заниматься, наконец, собой, неустроенным.

Такова была прикладная цель поездки, если только практицизм этих соображений не покажется кому чистой идеалистической чепухой.

На перекрестке дорог, у деревни Заднее, в пригороде Тотьмы, перед тем как въезжать на мост через Сухону, автобус остановился, и я чуть было не вышел. Настолько захотел выйти, что даже салон испугался покинуть. Но я понимал, что к родителям тоже не поеду: не ждут; а возвращаться отсюда в Москву было бы полным поражением. Я потомился на подножке, как бы в тревоге от возможного контролера, но на придорожный гравий вслед за остальными так и не вышел. А вскоре тронулись, въехали на мост и перевалили на ту сторону реки, а там уже начался интерес любознательности, как всегда на новых дорогах. Невысокий сосняк, ельник и болотца были все те же, а полей и голых холмов, откуда бы открывался далекий вид в сизой дымке, теперь не было и в помине. Асфальт был сух, шины хорошо шли и цеплялись, по оврагам и вдоль рек в живописном беспорядке разбегались поселки лесозаготовителей с сильно захламленными околицами, и мне постепенно становилось усадливо и удобно позади крепко напарфюмеренной женской головки. В салоне еще сидели несколько кавалерист-девиц, в искусственной коже, шнурах и молниях, точно с молодежной тусовки где-нибудь на Арбате, но в проходе уже толпились честные русские старики и старухи, с певучей речью, иконопис-

ными и морщинистыми лицами, с узлами и поросятами в корзинах, и мне хотелось их лобызать за полное соответствие правде. От них хорошо пахло ветром и полем, и, подавая шоферу сотенные и тысячные ассигнации, они ясными голосами справлялись о стоимости проезда. Удивительно, до чего звонки голоса у тех, кому не загорожен горизонт, а в уши не вставлен привод от плеера. Надушенная женская головка здесь воспринималась уже как непристойность. Шофер, лысоватый и в очках, вел машину ровно и спокойно, сзади протяженно урчал мотор, давая добрую тягу, второй шофер кемарил в переднем ряду кресел, и, кроме посвиста воздуха по сторонам и забористого рокота мотора, подолгу ничего не было слышно.

Отчитываться в поступках было не перед кем, а замысел удрать возник столь импульсивно, что я только успел засунуть в новенькую сумку «урд-стиль» рубашку, трусы, пару носков и зачем-то электробритву, а записную книжку с вологодскими телефонами, конечно же, забыл и теперь время от времени в полудреме пытался вспомнить, нет ли у меня знакомых в Никольске, Кичменгском Городке или Великом Устюге. Всплывали две-три фамилии старых приятелей по педагогическому институту, но я знал, что и через адресный стол их не разыщу. В городе Красавино, под Устюгом, жили родители одного знакомого писателя, но с ним так не хотелось встречаться, даже ненароком, что я эту возможность тотчас исключил. Леса и реки своей родины я любил, а с людьми, которых знал когда-то, меня не связывали даже воспоминания. Не за воспоминаниями ехал – в командировку: не имея начальства уже давно, послал себя сам. Одно худо: хватит ли денег, чтобы купить хоть пирожок с капустой и бутылку пепси-колы – подкрепиться за двенадцать часов пути. Выходило, что если рассчитывать на возврат, законный, с билетом, то их не хватало.

Село имени бабушкина названо в честь Ивана Васильевича Бабушкина, одного из друзей Ленина, но название прижилось, вероятно, потому, что вологжане производили его от слова «бабушка», как жители какого-нибудь Братеева или Дедовска. По мне, так и Леденга звучало неплохо, вполне в духе северного этноса. Едва шофер объявил, что стоит пять минут, я устремился на широкий, с деревянными низкими перилами, мост через реку Леденгу и залюбовался открывшимся в обе стороны сельским видом обжитой речной долины. Река была мелка, с песчаными отмелями, с водой кофейного цвета; к ней сбегали крестьянские изгороди, а по обоим зеленым берегам вразброд толпились избы, крытые кровельным железом и шифером, – те мелкие одноэтажные приземистые строения, без мансард, коньков и погребов, но с застекленными верандами и ягодными кустарниками, которые так распространились за последние два десятка лет: дом из бруса, вместо печей – газ в баллонах, отопление, похоже, от котельной, черная труба которой торчит прямо из кучи угля. Я испытал легкое разочарование при виде этой захолустной измельчалости, но опыт подсказывал, что настоящие пятистенки, рубленные в лапу из столетних бревен, с изукрашенными наличниками окон и высоко вознесенным резным балконом я встречу еще севернее, по деревням, а в районных центрах их искать уже бесполезно. «Зато это уже бассейн Северной Двины, – утешил я себя, с удовольствием оглядывая реку. – Здесь не растут в стоячей воде эти поганые кувшинки и рогоз, русло выслано галькой, и от воды не воняет сапропелем, как во всех без исключения волжских речушках». От тихой воды точно веяло хрустальным ледком и тайной, которую вода собирает, протекая в лесах.

Прямо рядом с автостанцией я заметил вывеску совместного советско-норвежского предприятия «Норд» и, не долго думая, почесал прямо туда, но в коридоре был остановлен уборщицей, которая сказала, что все на обеде; в а л я в к а с намотанной на нее старой шалью торчала выше ее головы. Я спорить не стал, тем более что шофер уже нажимал на клаксон, созывая пассажиров, и ринулся на посадку, решив, что если шофер не признает меня за пассажира, едущего до Устюга, и потребует билет, то я и здесь выйду, какая разница! В боковом кармане стильной сумки есть набор поплавковых удочек (поплавки мастерил сам, из пробки); куплю в сельпо банку рыбных же консервов да краюху хлеба и раскину шатер на сухом лугу

за околицей, не все ли равно! Однако шофер впустил меня, не спросив билета и даже с видимым удовольствием, потому как дверь осаждали, а в салоне пустовало лишь мое место. Встретить здесь лесоторговую норвежскую фирму было любопытно потому, что полугодом прежде я хлопотал о выезде на постоянное место жительства в Норвегию, собирал справки, заполнял арбайтен-лист; но мне было отказано в визе, а мои заявления, похоже, так и осели где-нибудь в ФСБ, если только визовый отдел посольства Норвегии поддерживал контакты с этой службой. Право, я хотел переселиться на Родину, но под родиной понимал не только северо-запад европейской части России, но также Данию, Великобританию, скандинавские страны и Канаду. Там я хотел жить и работать, потому что Вологда и Москва уделали меня с ног до головы дерьмом, но голубоглазый атташе посольства, с симпатичным нордическим мягким и четким произношением, с терпением психотерапевта несколько раз кряду заявил, что Норвегия не принимает иммигрантов с 1975 года. «У Руссия от этот момент наступил демократиа», – произнес он с мягкой улыбкой, закрывая перед моим носом дверь приемной. Хорошо бы с ним выпить где-нибудь в Осло в кабачке, думал я, возвращаясь Скатертным переулком; а здесь он, судя по выражению глаз, чувствует себя как в тигровом питомнике: экзотично и для жизни опасно.

Я не политик, но в ту пору меня, и правда, охватила некая приступообразная злоба на страну, народом которой уже десять лет управляли с помощью только двух словосочетаний: «Чечня» и «тысяч долларов». Я тосковал, точно влюбленный в надменную красавицу, по всему северо-западу Европы, дважды ездил в Петербург, чтобы хоть немного побыть среди этнически своих, и все мужчины с льняными волосами и голубыми глазами казались друзьями детства. От суетливых, черноволосых и смуглых южан, заполонивших Москву, меня прямо-таки тошнило; в их черных глазах мерцал голодный блеск мародеров, нетерпение алчбы, а еще через пару лет большинство из них уже сидели за рулем роскошных автомобилей и выглядели оттуда султанами во главе своих караванов. Они алкали одного – приобретать, брать, по этому поводу между ними то и дело вспыхивали гортанные перебранки и стрельба, а я-то еще помнил этих угловатых серьезных северных мужчин, которых интересовал лишь свой бревенчатый хутор, покладистая жена, закатывающая банки с маринованными огурцами, да иногда охота на тетеревов. За ними не водилось экспансивных замыслов, направленных вовне, но и своего они не отдавали, эти русоволосые молчаливые люди с глазами холодными, как льдинки. Вот по ним я и тосковал, к ним и стремился из Москвы, которую в очередной раз завоевывали пришельцы обширной Азии.

Возле Рослятина на территорию губернии вползает, как шупалец гигантского осьминога, река Унжа с притоками, которая, как известно, относится к волжскому бассейну, и я с нетерпеливым злорадством ждал удостовериться, растут ли по ней трава и камыш, но мостик, очевидно, промелькнул незаметно и посрамить великую русскую реку в угоду великой северной не удалось: я просто не заметил, как перевалили водораздел. От Зеленцова до Никольска и Кичменгского Городка вдоль пути пошли голые холмы, с вершин которых открывались восхитительные виды, и пустующие незасеянные поля, где врассыпную паслись коровы холмогорской породы. Никольск удивил протяженностью и плотной застроенностью деревянных улиц, но его проехали почему-то без остановки. Далее путь лежал почти строго на север, с легким уклоном в сторону Коми, и вот тут впервые на меня повеяло былинным величием Севера. Я понял, почему сказитель, пускай подслеповатый, сколиозный и с батожком, не тратил лишних слов на цветистую цыганщину, а прямо заставлял сивку-бурку перемахивать через семь озер одним скоком; видели, как взнуздан коня, не заметили, куда путь держал. Европейский березняк и ракиты все чаще сменялись хмурым ельником и болотинами; по кюветам ярусами цвел иван-чай. И хотя день клонился к вечеру, дороге не предвиделось конца. Ах, если бы хоть немного средств! Я остался бы один на пустынном шоссе, с котомкой за плечами, с приятным трепетом в сердце, и двинулся бы на своих двоих от деревни к деревне, чтобы напрямую вобрать это расстояние отсюда до колоколов и доков Великого Устюга. Только так и можно

было напитаться величием этой суровой земли, только в простых думах, которые сопутствуют движению пешего тела посреди угрюмой тайги, и можно обрести содержание цельности. Уже и кондиционированный воздух салона, и кресла в грубых чехлах, и желтые занавески на окнах, и красotka с календаря на задней стенке шоферской кабины – все воспринималось как жеманство цивилизации, бессильное против языка четырех вольных стихий.

От Кичменгского Городка шоферы сменились: предстояла последняя, самая протяженная и безлюдная часть пути, вдоль живописного Пыжуга и Шарденги, на север, к слиянию Сухоны и Юга. Я был доволен, что мой план удался и в одни сутки я оказался за тысячу верст от Москвы и продолжал от нее удаляться. Есть же несчастные сынки богачей, у которых денег куры не клюют, а они сидят в каком-нибудь мрачном притоне и курят марихуану. Вперед, вперед! Я от души радовался настойчивому безостановочному движению автобуса и размышлял, не достанет ли денег заглянуть в один совершенно глухой медвежий угол, где когда-то учительствовала моя бывшая жена. Как же называется станция жэдэ? – бился я в безуспешных воспоминаниях. – Шиченьга? Урдома? Уфтыуга? Господи, да там всего полтора лесных барака, и прямо от рельсов в глубь тайги узкая бетонка – километров двадцать среди сплошных болот... Заборье? Залесье? Раменье? Надо справиться в расписании поездов. Вот бы где поселиться поэтической душе... К сожалению, если туда ехать, исказится замысел марш-броска. Так что в другой раз. Удима? Улома? Кизема?

Еще сидя (томясь) в московском заточении, я обдумывал совсем другой маршрут: через Буй, Галич и Шарью, – сладостно обдумывал, прямо-таки смаковал, как от Шарьи двинусь пехом строго на север по грунтовке и через трое-четверо суток достигну Никольска. Этот маршрут был привлекателен тем, что на карте было отмечено совсем немного деревень – с расстояниями в пятнадцать – двадцать пять километров между ними. По прикидкам оказывалось, что денег хватит как раз на железнодорожный путь до Шарьи. Полный тука в теле и страхов в голове, я живо представил, как наряд милиции арестовывает меня в Пыщуге как бомжа и беспаспортного бродягу, и вместо счастья я обретаю унижения и кучу проблем. «Зачем? Почему? Куда вы направляетесь? С какой целью? Какая организация вас направила в командировку? Не знаю никакого Союза литераторов. Вы ели пистики при дороге и украли из огорода гражданина Костромина связку репы – и мы вас задержали для выяснения личности». Отказавшись от этого маршрута, я был не совсем доволен, что пришлось вновь проделать сто раз знакомый путь до Тотьмы, и чтобы восполнить чувственный голод, продолжал думать, что еще выйду, где захочу. Но не захотел, потому что стратегическая задача путешествия заключалась в молниеносности бега обширной территории с возможной рекогносцировкой в Устюге. Я не сидел в правительстве и в Думе и не мог позволить себе, ткнув наугад пальцем в глобус, заказать себе туда билет, но зато и ответственности на себя не брал ни малейшей, кроме как за свою жизнь.

У некоторых северных городов и поселков есть хорошая особенность: железнодорожные вокзалы и автобусные станции вынесены за городскую черту. Ты спускаешься на выщербленную платформу в окружении нескольких коричневых будок и приземистого белого станционного здания, поезд уходит, пассажиры рассыпаются, как ртутные шарики, и ты остаешься в одиночестве посреди зарослей ольхи сразу за полотном. Тишина после вагонной качки такая, что тревожно на душе, подступает приятная сонливость – хочется, не заходя в вокзал, лечь на травке на взгорке и заснуть. Сложность только в том, что ты еще вымуштрованный горожанин и помнишь об одежде, что она пачкается, а то бы так и лег. После городской суеты, в которой тобою двигают, здесь ты точно столбенеешь на полчаса, потому что направление движения приходится выбирать самому: вокруг ни души. Да и дорог, похоже, нет, только шпалы в обе стороны.

Ту же космическую пустоту я ощутил, выйдя на станции в Великом Устюге. Модерновый куб вокзала с широкими асфальтированными подъездами был в этот вечерний час пуст, точно вакуум-насос, а широкие, во всю стену, окна придавали ему немного сходства с аквариумом.

На недостижимый взгляд верхний ярус вела узкая мраморная лестница. В окошках касс везде были опущены шторы. Ни души. Так чувствует себя крольчонок, когда клеть, из которой он выпал, унесли. Разреженный воздух сквозил и мерцал, предвещая белую ночь. Пишу, читаю без лампы. Мне было очень хорошо, главное оттого, что город был где-то рядом, а я туда разыскивать знакомых не пойду. Пригородный поезд на Котлас идет в пять часов сорок минут утра. Вот и отлично, заночую здесь, в креслах, рыбные фрикадельки в томатном соусе вскрою перочинным ножом, а потом пушу в ход чайную ложку: китайцы едят и палочками. Я скоро ознакомился с новой обстановкой, заглянул повсюду, вышел на платформу, потом вернулся и поднялся на верх. Там стояли ряды деревянных кресел с изогнутыми спинками и куцыми подлокотниками, стоял автомат по продаже почтовых открыток. Я подошел к окну, обращенному к путям, и тут взору предстало что-то давно знакомое. Дежа-вю. Показалось, что когда-то я уже стоял возле этого окна, а по крыше низких бетонных сараев бродили, переговариваясь и попиная вытяжные шкафы с козырьками шалашиком, эти же двое путейцев, один в свитере, другой в брезентовой куртке. Словно я совершил вневременного межзвездного кругляя и через двадцать два года оказался в той же точке с теми же координатами. Я именно что вошел дважды в одну и ту же реку, как телефонистка вставляет штекер в то же гнездо для того же междугороднего разговора или как две оси координат пересекаются в одной точке. Страннее всего, что я не ощутил себя убывшим по массе и мирочувствию по сравнению с первым попаданием сюда, а это, говорят астрономы, даже с кометой неизбежно случается: что-то она там теряет, пока ее носит. Страх не было, но я чуть отступил от подоконника, чтобы чувство прямого попадания видоизменить. Потом я, правда, снова пришатнулся, как бильярдный шар на неровном сукне, и в этом положении подумал, что раз вышел на ту же дорогу, то теперь надо бы избежать прежних ошибок. Может быть, им нужны путевые обходчики или где-нибудь есть лесное урочище и там требуется егерь? От представления об егере мысль обратилась к представлению о сухом и редком боровом лесе, который здесь рос двести лет назад, и если бы я провалился туда, пусть даже в неудобь, в барсучью нору, вот это было бы подлинное чудо, свидетельствующее о чудесном устройстве мира. Мне так захотелось, чтобы на месте вокзала шумели сосны, что я почувствовал досаду. «Ничего-ничего, ты не сумасшедший, – успокоил я себя. – Просто объективного по количеству больше, и оно остается на том же месте, где было... Ага, по-твоему, и эти мужики подгадали через столько лет забраться на крышу, нимало не постарев, как только ты тут объявишься. Сарай – да, рельсы, клумбы – да, но никак не мужики. Зачем приезжал-то сюда в тот раз, не помнишь?»

Странное ощущение и внутренний диалог длились недолго и без интенции, потому что сразу же вслед за этим я беспечно побрел вдоль кресел, потом, по слабому любопытству, к двери в конторку транспортной милиции, потом вниз проветриться. Ждать было еще очень долго, время приобрело ту суровую пространственную медлительность, которую оно имеет в безлюдных местах.

Через час наверху в зале ожидания появился старый нищий в обтрепанных брюках и в развалившихся замшевых ботах на босу ногу. Устроившись в креслах, он развернул газетный сверток и начал уписывать помидоры с хлебом. Покончив с этим, он отыскал возле мусорной урны хороший окурок и с видимым удовольствием закурил. Мы были вдвоем, но места хватало, так что заговаривать и знакомиться мы не стали. Ближе к утру появился еще народ. Один из выступов боковой стены был обшит дубовыми панелями – хорошая лежанка, не уже односпальной кровати; я устроился там, подложив сумку под голову, и удобно провел ночь. Проводить рекогносцировку Великого Устюга теперь совсем не хотелось, и, засыпая, я мечтал, как, вернувшись в Москву, переночую на чистых простынях, а наутро опять разверну подробную топографическую карту Вологодской губернии и намечу новый маршрут. В почтовом ящике, уж точно, найдется к тому времени денежный перевод откуда-нибудь. А нет, так сниму остатки со сберкнижки: все равно инфляция съест.

Остальной путь запомнился только страхом контролера: отсюда до Котласа я ехал зайцем, чтобы достало денег на поездку Котлас-Москва. Но все обошлось. Гуляя по привокзальной площади в Котласе, я немного томился совестью, потому что отсюда в город, где жила сестра, то и дело отправлялись автобусы и пригородные поезда. Но я понимал также, что, оказавшись совсем рядом с ней, могу быть втянут в орбиту общения, а это было уж совсем лишнее, потому что на путях ее жительства и передвижений я побывал и дистанционно пообщался. Кому мое поведение покажется чудным, готов кое-что объяснить на примерах. Если вы выросли в доме из семи комнат и пяти спален, то с юности у вас вряд ли возникнет чувство, что вас выставляют за дверь и вытесняют, но когда вы лет до двадцати вчетвером ютитесь по существу в одной комнате, вы легко получите в зрелом возрасте мои проблемы. Сидя в своей холостяцкой комнате в Москве, я физически ощущал некий страх и переполнение, вынуждавшие меня переместиться подальше отсюда. Думаю, что европейские и американские туристы из людей постарше меня бы поняли. Прежние летописцы сообщали об этом примерно так: «Был голос с неба, и он возвещал: «Ступай в Дельфы, спроси оракула о течении дней своих...» Или так: «И Господь вывел его из Москвы и поставил на стогнах Пантекапеи, у мраморных колонн храма Афины-Воительницы...»

Я еще был испуган и от а р т е р и и, которая сообщалась с Москвой (то есть, от шоссе и железной дороги), далеко не отлучался, чтобы успеть шмыгнуть в эту артерию, чтобы меня, как кровавое тельце, по ней доставили в сердце страны. Людей я боялся больше, чем природу, но отрешиться от них еще не мог. Я чувствовал, что еще не раз придется возвращаться в Москву и уезжать из нее, пока я не обрету спокойствие. Так хороший охотничий пес за ночь не раз встает и, повертевшись, вновь укладывается, свернувшись в клубок, – для новых сновидений и лучшего комфорта. Полный тревоги, я стоял на берегу полноводной реки, рядом с пивным павильоном, и вертел в руках пук желтого донника. Свинцовая река двигалась меж берегов мощно, упорно, словно впереди ей уже мыслилось Белое море и Ледовитый океан, куда она с нетерпением вольется. Донник пах так щемящее, пачкая мой нос желтой пылью, что я решил его увезти и засушить. Это было единственное, что я взял из этих мест; остальное оставалось пребывать.

УСТЬЕ – СОКОЛ – КАДНИКОВ



город Кадников

Есть игра, знакомая переводчикам, специалистам в области семантики и семасиологии. В мозгу у переводчика Йенс Петер Якобсен сразу преобразается в Ивана Петровича Яковлева, а город Елгава – в Олегов. Игра бесплодная, но свидетельствует о расщеплении сознания. В эту игру до конца сыграл Джеймс Джойс (Жуайёз), но для здоровья она, точно, вредна. Тем не менее, от излишней начитанности я в нее поигрывал, и родной поселок становился для меня понемногу Майклтауном или даже Мишель-сюр-Суоном. На автобусном вокзале в Вологде я в очередной раз решал, как бы направиться к нему, но не доехать. Во всяком случае, не так скоро доехать.

Меня очень манил север и северо-запад губернии, неисследованные места, но мотивом психологической адаптации оправдывалось посещение все-таки уже освоенных земель. Было досадно, что предстоит уже накатанный путь, но денег было опять в обрез, и утешение состояло в том, что на этом накатанном пути в любом пункте можно было выйти и попутешествовать в неизведанном направлении. Так я и поступил, купив билет в Устье-Кубенское, поселок неподалеку от Вологды. Мотив был еще тот, что на сей раз я таким образом собирался избавиться от одного своего друга, который меня вовлек в грязную историю. Друг этот жил в Москве, но родом был из тех мест, мимо которых пролегал мой путь. Побродяжив возле его родных мест, я тем самым избавлялся от его влияния на меня – дурного, пагубного влияния, снимал его порчу со своего астрального тела. Анимизм такого рода верования кому-то покажется нелепым, но в моем случае он срабатывал. Я слишком много думал об этом недостойном обромете, и мне захотелось, чтобы он из моей жизни исчез, как не бывало.

Вест недолгий путь в жестком трясучем автобусе и на остановках я наблюдал, как девочка-подросток забавляется со здоровенной колли (то подаст ей палку, то заставит пры-

гать), покупал пирожки и лимонад, а когда миновали город Сокол, углубился в рассматривание пейзажей за окном. Пейзажи были сельские, милые, полевые, но местность до того ровная, низменная, плоская, как стол, что пришлось даже пожалеть, что сюда заехал. Только и промелькнуло живописной отрады, что короткоствольный борок да мост через реку Кубену сразу за ним. Река была до того хороша, широка и мелка, что мечталось тотчас пойти по ней с удочкой и чтобы сапоги –бродни натягивались до подмышек.

Устье основано в 1260 году на берегу длинного озера Кубенское, в нем есть кое-какие народные промыслы и деревянное зодчество. Озеро даже по форме (впрочем, только по форме) напоминает Байкал – Байкал европейской части России, и в него также впадает множество рек, а вытекает только одна – Сухона. Я торчал там восемь часов и чуть не помер со скуки. В редакции сказали, что есть избы на продажу, и я ходил осматривать одну – прямо в центре, на тихой травянистой улочке вдоль оврага. В половодье в устье Кубены бывают заторы, вода поднимается по оврагу, и прямо с крыльца можно садиться в лодку. Комнаты показались мне крошечными, окна – невзрачными, но под полом и во дворе было много сараев, клетушек, хлебов, двадцать соток земли и буйная малина, которая так и висела вся неубранная (я поскорее набил ею рот). Сосед, крепкий старик, не торопясь, показывал все эти службы и нахвалялся здешнюю жизнь. Я вел себя как правомочный покупатель с пятьюдесятью миллионами в кармане, и от этого надувательства мне было неловко. Наследники-распорядители этого дома, три брата и сестра, рассосредоточились по всей России, но я прилежно записал их адреса, тешась будущей надеждой жизни в столь привольном уголке. Мечтать не вредно, а у такого бедняка, как я, мечты ходят вместо денег: я ими расплачиваюсь.

Пока суд да дело, оказалось, что рейса на Вологду сегодня уже не будет. В вокзальчике, холодном как мертвецкая, какой-то паренек лет десяти то и дело прикладывался к бутылке портвейна «три семерки» и курил сигарету за сигаретой – так независимо и уверенно, что у меня глаза на лоб полезли. «Чего зря веньгать, – сказал он мне. – Я до Василёва еду. От Василёва повёртка есть, а там автобус до Харовска. Если тебе до Харовска. А если до Вологды, так вечером сюда из Сокола приходит – на нем доберешься. Дашь две сотни – сейчас налью». – «Иди ты, гаврош устьянский», – огрызнулся я и вышел.

Три часа я просидел недвижим на лакированной низкой банкетке в детском сквере, наблюдая, как лениво и по одному со всех переулков мимо проезжают мужики с граблями, мальчишки с удочками, бабы-дачницы в штанах, заправленных в сапоги, – все на велосипедах всевозможных цветов и марок. От мелькания серебристых спиц на вечернем солнышке рябило в глазах. Мне даже стало мерещиться, что я в провинции Фуцзянь и вот-вот прямо по курсу покажется толпа веселых озорных китайцев на велосипедах, вздымая длинного бумажного дракона и трезвоня что есть мочи. За все это время проехал только один автомобиль – вишневые «жигули», зато от велосипедов просто не было спасу. Вечерело. За спиной меж домов блестело озеро.

А не остаться ли здесь насовсем? Да, но где жить? Они скорее ее сожгут, чтобы получить страховку, чем пустят тебя под крышу, а в собственность тебе ее никогда не приобрести. Пятьдесят миллионов – где ты их возьмешь? Что за собачья жизнь – тебе же на пятый десяток!..

Путешествовать через Харовск и Сямжу, и непременно пешком! – я решил в другой раз, когда какому-нибудь редактору удастся преодолеть зависть и трусливую дрожь в коленках и порекомендовать к печати мою книгу, а пока что взгромоздился в комфортабельный «Икарус», до того пустой, что показалось, что его подали специально для меня. Даже этот мальчуган до Василёва отчего-то не поехал, и только перед самой отправкой в салон села толстая тетка с большой драночной корзиной, обвязанной поверху клетчатой шалью.

Тронулись.

На станции в Соколе, когда я с рюкзаком, хорошо укрепленным за плечами, спрыгнул наземь, ко мне, поигрывая ключами, лениво подвалил толстомордый таксист – с намере-

нием подбросить до Вологды за пятьдесят тысяч. «Мне ближе», – соврал я, чтобы отвязаться: так и представилось, что липнут последние слуги цивилизации, чтобы испортить мне счастье пешей прогулки. Было уже так темно, что зажглись фонари. Несмотря на поздний час, я был бодр и возбужден: за городом обязательно встретятся деревни, где можно напроситься на ночлег.

Эта ночь была не самой спокойной в моей жизни, зато запомнилась.

Сокол – протяженный, очень пыльный и некрасивый город, в котором, кажется, делают газетную бумагу, сгущенку и много чего другого. Но я уже был на окраине и скоро вышел на пустынное шоссе, ведущее в полевую тьму. Отчетливо пахло болотной гнилью, гнилыми водорослями, осокой, аммиаком, в низкой ложине справа поднимался сырой туман, – так пахнет низина, из которой ушло море, оставив на голом дне свалывшиеся ламинарии и груды еще не просохшего щебня.

Вскоре налево поодаль от шоссе показалась деревня. «Ершово», – гласил дорожный указатель. Час был поздний, и я свернул туда. Я прошел ее улицу из края в край под лай собак, но сарая или бани сразу не обнаружил. Горел только один фонарь в середине улицы, он лишь усиливал чувство неприютности. Я постановил как можно реже обращаться к людям за помощью во время своих путешествий – просто потому, что причиной моего бегства из мегаполиса и явилось, в частности, отвращение к человеческому облику, однако перспектива не найти никакого приюта в первую же с о б о д н у ю ночь меня удручила. В самом центре деревни возвышался высокий бревенчатый полуторазэтажный дом из тех мастодонтов раскольничьего строительства, какие еще встречаются кое-где на Севере и в Сибири. Хотя стекла рам, до которых было не дотянуться рукой, были целы и мертво поблескивали в свете одинокого фонаря, было очевидно, что в доме никто не живет, дверь была заперта на увесистый замок. Воровски озираясь, я прошмыгнул через отворенную калитку в огород. Он был засажен грядками, хорошо выполот (сорняки валялись в бороздах); за широким, как мавзолей, бревенчатым двором росли, правда, лопухи в человеческий рост и были свалены доски для какого-то строительства, но в общем это чужое земельное владение мне приглянулось: двор и несколько коренастых яблонь, росших вдоль забора, вполне скрывали меня со стороны улицы. Тут же стояла железная бочка с дождевой водой. Здесь было хорошо, страшно, таинственно, навевало чувства, знакомые только в детстве, когда я в компании с друзьями очищал чужие парники. Вновь ощутить это в сорок лет было так необычно, что я хихикнул, скинул рюкзак, осторожно настелил на подходящее бревнышко несколько досок пологим накатом и примерился: каково это будет выглядеть – ночь под открытым небом. Было жестковато, но хорошо. Поверх свитера я натянул, достав из рюкзака, еще один, потому что было весьма прохладно от редкого тумана, наползавшего с лугов, и от близости большой реки, которая протекала где-то там, за шоссе. Поползав на ощупь по грядкам, я обнаружил, что самое простое в моем положении – это позаимствовать несколько луковиц с длинными, но еще сочными перьями, и пару тощих морковок – буквально на зубок, и все это умять с черным хлебом, краюху которого я достал из рюкзака. Я помыл овощи в бочке, порезал хлеб и с толком принялся за ужин. В одном из дальних дворов брехала собака, почуявшая мое присутствие, но смутить меня ей не удалось. Зато, поостыв на досках после ходьбы, я обнаружил другое существенное неудобство: к утру могло и подморозить. Покончив с едой, я положил свой мешок под голову и с наслаждением растянулся на досках во весь рост.

Боже ты мой! Я столько лет его не видел, этого глубокого ночного неба, которое так и переливалось россыпями звезд. Оттуда шли такие счастливые необычайные токи огромного мироздания, что я почувствовал совершенное замирение не только в людях, от которых бежал, но и с Богом. Эта провальная бездна напоминала обозначенному мною телу, простертому здесь на досках, что, кроме нее, надмирной, все человеческое есть пустяки и суета, малосущные и еле обозначенные на ее окраинах. Дух переносился туда, легко воспаряя в эфирном

пространстве, и уже оттуда, со звезд, вновь возвращался по нити дыхания, безусловно находя деревенку Ершово и лежащего меня. Это путешествие взгляда и духа совершалось в полном восхищении души, в ее горьком сожалении оттого, что невозможно в ее плотском объеме, медлительнее и обстоятельнее слетать-съездить туда, в межзвездное пространство. Это было такое разочарование, что я вновь ощутил свое тело и окружающий холод, повернулся на бок, засунув руки в рукава, как пленный француз после Березины с известной картины, сопровождаемый русским мужиком с рогатиной, и попытался заснуть. Однако через четверть часа прилежных попыток понял, что в эту ночь это не удастся: голова была ясной, тело бодрым и даже возбужденным. Надо было идти, двигаться: тело само остановится там, где снимет с себя возбуждение и устанет. Самый первый рейсовый автобус, следовавший в Тотьму, делал остановку в Кадникове часов в восемь утра, у меня была уйма времени; от Сокола до Кадникова вряд ли больше двадцати пяти километров, даже если ни одна попутка меня не подвезет и придется идти пешком. Маленькое чувственное расстройство наблюдалось лишь по поводу того, что попутешествовать обстоятельнее, с уклоном в сторону от шоссе, опять не выходило, предстоящий путь лежал по оживленной цивилизованной автостраде и замыкался опять в автобусе. Ну, да Бог с ним, не такая уж прелесть – этот Сокольский район, плоский, как блин, весь в болотах и дренажных канавах!

Было 1 августа 1996 года. Кроме холода, донимали еще и комары. Ворочаясь, я недоумевал, откуда они в таком количестве в местности, где и леса-то нет, но потом до меня дошло, что обширные болотистые поля, исчерканные мелиоративными системами, и целые плантации болотных трав и тростников – самые лучшие питательные рассадники для личинок комара. В детстве, когда все знания правильны, мы, дети, так друг другу и вещали с апломбом профессоров: комары заводятся от сырости. Я рывком поднялся с дощатого ложа и стал прилаживать на спину рюкзак.

Как же это я не догадывался об этом наслаждении прежде! О наслаждении топтать в удобных ботинках по пустынному шоссе, свободно болтая руками и чуя за спиной противовес рюкзака! Ведь я плебей и бродяга; мои деды пахали раскорчеванную землю на северо-востоке Вологодской губернии, а бабки варили для них пиво, подавая в позеленелых медных ковш-братинах, какие теперь можно встретить только в краеведческих музеях. Золотистые шишечки хмеля они срывали с шестов за собственным тыном, а сладкий солод брали у мельника, а то и сами готовили, вышелушивая сухие ячменные колосья. И я, их потомок, в сорок лет чуть не заделался барином, обзавелся тугим животиком, ночными страхами и гипертонией, словно самый заурядный горожанин, который с рождения до смерти торчит в помещениях, искусный лишь в науке общежития. Но вовремя обнаружилось одно обстоятельство, вряд ли существенное для цивилизованных людей: спасительная власть неудобств. Вместе с тысячами стихийных беженцев, поваливших с воюющего юга, я решился на бродяжничество для того, чтобы растрясти жир и омолодить организм, дряхлевший от безысходности комнатной, почти тюремной жизни в забетонированных клетках города. Да, в нашем образе зачастую «важный» и «тучный» – почти синонимы, да, я нечто теряю в общественном статусе и уважении друзей, решившись сбросить вес и девальвироваться, но, хотя я знаю, что почтением пользуются полумертвые, все-таки здоровья и радость бытия всего дороже. На общественном же поприще сын крестьянина не может соревноваться даже с самым посредственным и недалеким из горожан: разные ценности. Да, все-таки разные ценности: муравейник и муравьиная тропа...

Моя «тропа» была хороша, а главное, пустынна, подошвы льнули к ней во всю длину. Поле было огромно и голо, и впереди на его краю поблескивали огоньки фар: там пролегало шоссе М-8, перпендикулярное моему, и через полчаса я его достиг. Потоптавшись на широкой развилке и несколько раз голоснув возле крытой автобусной остановки (безрезультатно: водители грохочущих контейнеровозов и запоздалых малолитражек воображали, очевидно, что у меня за поясом пара кольтов), я охотно двинулся по обочине широкого ночного тракта.

Эх, что за удовольствие бодрым шагом идти по хорошей дороге, поглядывая окрест, – на туманные поля, на широкие кюветы, в которых топорщится осока и продолговатые коковки рогоза торчат из вонючей воды, что за счастье – прислушиваться пугливо к шорохам из подступающего обочь леса и далеко впереди, задолго до появления, замечать лучи выползающих из-за угора встречных грузовиков. Шоссе было так широко, что даже мгновенное соседство редких автомашин меня не стесняло, тем более что с каждой минутой охотников стремиться к Архангельску в эту глухую пору становилось все меньше. Случались долгие минуты, когда ни впереди, ни сзади не доносилось ни звука, и тогда плотная тишина обступала меня со всех сторон, протягивалась из молчаливого леса по обе стороны, спускалась с ясных звездных небес. Пахло несколько удушливо для столь мирной ночи – тяжелым запахом осушаемых торфяников, отгнивающих водных стеблей, тем, чем насыщен воздух в дельтах больших рек, когда блуждаешь в плавнях и уже отчаялся выбраться. В лесу, как всегда об эту пору, явно кто-то тревожился, не спал и следил за одиноким странником, гулкие шаги которого шарахались между стен леса и ускользали ввысь. Через пять километров у меня появилось реальное ощущение с трудом усваиваемого пространства, которое, наверное, испытывают после длительной тренировки на велотренажере или на бегущей дорожке: Всё мне казалось, что я не столько иду вперед, сколько меня относит назад, а у подножий пологих холмов я явственно ощущал круглоту, казалось, всей Земли. Иногда я чувствовал себя столь оживленным, разгоряченным, что, мысленно урезонившись, останавливался, замирал посреди ленты асфальта, – и тогда особенно огромным, победным казалось все пространство до горизонта, широкий путь, посреди которого я беспомощно копошился: так мирно, без чувств отдыхала пустыня мира, что, чувствуящий, ты невольно представлялся себе самому буйным умалишенным. И усмехнувшись, вновь трогался в путь, вновь вбирал его в разгоряченное сердце. Я с отрадой смотрел на уже зеленеющее предрассветное небо, и все мне казалось, что там заметно зарево городских огней, но за следующим бугром, на который взбиралась дорога, расстился в сумерках новый аспидный отрезок, и я вновь его одолевал. И при всем том, поскольку дорога была ровна и и с к у с т в е н н а, без уютных травянистых ложбинок и укрытых от прохладного ветра впадин, поскольку отдохнуть на ней и расслабиться походя не представлялось возможным, я шел и шел в ускоримой надежде обрести пристань, зная, как трудно будет продолжить путь даже после краткого отдыха. Это больше всего, пожалуй (если уж нюансировать чувства), и удручало: что она искусственна, покрыта слоем гудрона и что в определенном смысле, для души, приемлемей был бы проселок или даже тропа: больше живописных видов а ля Куинджи, неожиданностей, извивов. Недаром же, как утверждает статистика, на слишком прямых автострадах не счесть автомобильных катастроф.

Но на мосту через реку Пельшму я все-таки позволил себе задержаться. Ноги гудели, и голова очистилась от усиленного кровотока. От воды веяло чуждой тайной и щемящей сыростью, так что не возникало желания спуститься и окунуть ладони, как я поступал на более приветливых берегах, только возникла чудная, детская мысль, как это за тысячи лет эти сильные струи не иссякли совсем, обнажив каменистое дно, гладкое, оглаженное, как ложе ружья: ведь по простой логике эта вода давно должна была сплыть, иссушив местности, из которых она собиралась. Но сила взятого направления была такова, что, подчиняясь ей, я двинулся дальше, как не может надолго остановиться щепка в быстром потоке, только разве закрутившись в водовороте.

Справа сквозь придорожный перелесок замерцали широко рассеянные огоньки селения под названием Сосновая Роцца, стоящего на том берегу то ли заросшего озера, то ли болота (из-за темноты нельзя было определить), а потом по курсу наметился и город Кадников. Его огни горели на верху странно плоского, как столешница, почти четырехугольного холма, так что город охватывался весь и сразу, точно средневековый замок. Было видно, что он невелик, планомерен, без пригородных деревень и дачного строительства – за недостатком места

на «плато». Основан он в 1492 году и, возможно, называется по основной специализации первоначальных жителей – кадников, то есть бочаров. Кади, насколько помню из деревенских впечатлений детства, – полезная вещь в крестьянском хозяйстве, из гладко пригнанных и стянутых деревянным обручем, выпукловатых досок, иногда с ушами поверху для удобства транспортировки («ушат»): залезешь туда, бывало, перегнувшись по пояс, и обязательно наберешь в крепком пряном рассоле, среди темно-зеленых м о д е л ы х листьев смородины и склизких палок укропа два-три крепеньких соленых огурчика (неусолевшие еще хрустят и сладки на вкус). Уж не помню, из каких, возможно, и не моих даже, а из впечатлений прадеда, переданных мне видеогенетическим каким-нибудь способом, но только помню ясно некий базар и эти свежие, янтарно-смолистые кади и бочки, расставленные на лужке на широкой конской попоне, и это сочетание свежей майской стрельчатой травки и высоковатых гладких деревянных сосудов цвета топленого масла. Средний и очень гладкий поэт пушкинской поры Красов, уроженец этих мест, чем-то тоже очень напоминает эти струганные дощечки, – настолько он вылощен и как бы избавлен от смысла. Но, в общем, городок чрезвычайно мил, уютен и симпатичен, исходя из дневных о нем впечатлений, – вероятно, оттого, что нет крупных фабрик, заводов и глухих бетонных заборов, которые так портят вид промышленного Сокола.

Но этой ночью Кадников показался мне просто мертвым – от того неприятного летнего холода, который устанавливается в предутренние часы. В серой мгле бодрствовало только цветное, от ярких упаковок за стеклом, окно коммерческого киоска, к которому я тотчас потащился.

– Откуда это ты? – хохотнул парень-продавец, отпуская пластиковый горшок немецкой шоколадной пасты, приметя мой запыленный и измученный вид и, очевидно, голодную жадность, с которой я тотчас сорвал предохранительный козырек. Я с готовностью объяснил, хотя ответом мне послужил дикий недоверчивый взгляд: мол, есть же еще чудачки на свете. Уточнив еще время прибытия вологодского автобуса, я потащился наискось к крытому деревянному павильону, заметив там притягательную скамейку. Надо было либо двигаться дальше, до Чекшина (а это примерно еще два таких же перегона), либо ждать почти четыре часа рейсового автобуса. Усталости я не чувствовал, а только какую-то злую возбужденность, но решился ждать, надеясь, что, может быть, удастся все-таки и вздремнуть: скамейка к тому располагала. Мне это в конце концов удалось, невзирая на холод, и отрывочные воспоминания до того, как я окончательно отключился в мягком кресле автобуса, заключались лишь в дремотном видении древних старушек в пальто и темных шерстяных платках (одна была даже в валенках с калошами), которые помаленьку умножались вокруг, собираясь ехать на богомолье «в Ильинскую церкву»: должно быть, предступал христианский праздник.

РЕШЕТНИКОВО, ЗАВИДОВО



Решетниковский пруд

В северо-западном направлении, к Твери я путешествовал вынужденно, еще с большими основаниями, чем к Соколу или Великому Устюгу: пытался таким образом развязаться со своей бывшей супругой. Сокольский друг, проживающий в Москве, и сам, надо полагать, сто раз пожалел, что знаком со мной, сестра жила далеко и оседло, как все новые крепостные люди России, а вот с бывшей женой, родом из Бежецка, была подлинная морока – из-за общего ребенка. Разведясь и немного оклемавшись и поправившись от холостой спокойной жизни, я стоял перед необходимостью (пусть не сочтут меня фантазером или мистиком) либо снова жениться, либо эмигрировать, либо умереть. Ей-богу, не вру, именно такие и представляли исходы. От женщин меня, понятно, тошнило, умереть я не хотел, а эмигрировать не получалось. И я подумал, что, побегав в тверских краях, пусть и не совсем на путях, где она (жена) хаживала, каким-нибудь образом избавлюсь от нее: в смысле забвения и д е й с т в и т е л ь н о г о прекращения отношений. Стало совершенно очевидно, что жить долго, одному и в безбрачии не получится: меня попытаются физически уничтожить сверстники моей дочери. То есть, просто как бы потому, что ей приспевала пора грез о любви и семье. Извините мою беспощадность, но иногда имеет смысл называть вещи по именам: здоровому мужчине в цвете лет у нас фактически невозможно начхать на продолжение рода. Дети при разводе остаются, как правило, с матерью, а мужчина платит алименты или, как я, моральный ущерб; даже если ему всего тридцать, надежд прожить холостяком хотя бы до семидесяти у него никаких. Разве если только он каким-либо образом очень богат.

Вы видели когда-нибудь, чтобы картофель, посаженный квадратно-гнездовым способом, мог выпрыгнуть из лунки и прирасти к ветке в другом конце грядки? Точно так же и разведенному мужику – в другую семью, особенно если первого опыта ему с лихвой хватило и всеми женщинами и детьми он сыт по уши. Иногда, пардон, лучше и проще сбросить вожеления в туалете суходрочкой, чем вляпываться во взаимоотношения с женщиной. Так бы я и поступал, если бы с молодым поколением в лице дочери имел хотя бы телефонные отношения; но их не было, так что я как бы проваливался из картофельной лунки даже не в борозду, а в кротовью норку. Как бы, мол, на предмет того, нельзя ли тебе породниться с кротом, раз с общественной пользой не удастся?

Эта проблема сейчас, когда это пишу, еще в стадии разрешения (то есть, провалиться в отечественную кротовью норку или все-таки укатить за рубеж), поэтому повторюсь только,

что побуждения к путешествиям к границам Тверской губернии были те же, похожие, что и для других: поиски гармонии и душевной тишины. Надо было обнять побольше пространства доступными малыми средствами. О выборе маршрута уместно говорить путешественнику расчетливому и с деньгами (туристу), моя же цель была – гармонизация душевной жизни. Тюрма или лагерь, по представлениям Солженицына, – это, по моим представлениям, еще мягко сказано о России, если иметь в виду свободное волеизъявление свободного человека. Но, с другой стороны, оказывалось возможным, например, сносно существовать, просто ни хрена не делая и без копейки денег. Ни хрена же не делал я и был без копейки потому, что не имел семьи. Поскольку у нас человек из дома-семьи уходит на работу-семью, я мог бы обивать пороги учреждений еще несколько лет: меня бы все равно никто не нанял. Мой телефон записывали, по крайней мере, в сотне мест, но никому даже в голову не пришло предложить хотя бы место уборщицы или курьера.

Что же прикажете делать в таком положении?

Путешествовать.

Вот я и путешествовал. И все время почему-то в район Завидова и Решетникова. С прикладной целью набрать грибов, раз меня общество не кормит (стоял сентябрь, грибы росли). Вместо марзаматиков Брежнева, Черненко и Устинова, в правительстве появились заносчивые сорокалетние, а я посвистывая бродил по лесу и собирал серушки. Серушки (гладыши) редко бывают червивыми, только разве в очень сухую погоду, и самые вкусные из них, слизистые, крепкие, на толстом полом корне, растут во влажных моховитых ельниках; корень иногда так глубоко уходит в мох, что его вытаскиваешь, как артезианскую трубу; на срезе тотчас выступает млечный сок. Обычно я слонялся за околицей Решетникова, вдоль шоссе и узкоколейки по направлению к деревням Саньково и Копылово. Там везде торфоразработки, проселки бурые от торфа, слоистые, пыльные, повсюду дренажные каналы и молодая поросль кустарников. Но на участках леса, если не задаваться специальной целью сбора грибов, а просто отдыхать, встречаются и живописные места, черничники и ежевичник. Подмосковные леса, даже и далековато заходящие в соседние губернии, все равно несут на себе печать техногенной эры, то есть, ядовитых папоротников, травы и заросших окопов там слишком много. В грибную пору там просто пропасть москвичек климактерического возраста в штанах, сапогах и дождевиках, которые, кажется, сумели бы законсервировать в домашних условиях даже радиоактивный стронций, а не то, что сыроежки и опята. Я чувствовал себя там как любитель живописи в чересчур людной картинной галерее, но однажды, забравшись глубоко по заросшей в и з и р е, получил и подлинное удовольствие грибника: хорошеньких волнушек и рыжиков было так много, что возникало впечатление вторичного, пост-цивилизационного запустения, как в одном из романов Пола Андерсона, который я тем летом переводил. В этом романе ядовитые одушевленные кустарники, ивы-убийцы и мигрирующие рододендроны воевали между собой в постиндустриальных джунглях, в которых группы одичавших людей наравне с кабанами еще кое-как кормились, отыскивая съедобные корни и желуди. В таком сумрачном и вонючем ельнике, в котором повсюду чавкала отвратительная жижа, точно прорвало очень ветхую канализационную систему, съедобная природа гигантских рыжиков внушала оправданные опасения, так что, в конце концов, на сухом бугре, вывалив содержимое рюкзака, я вынужден был учинить ему строгую сортировку (возвратясь потом домой, я засалил всего двухлитровую бутылку и еще немного осталось н а н а е д у - ху, как говорится в северных диалектах, то есть, на кастрюльку грибной ухи из рыжиков с яйцом, морковкой и постным маслом). День был сухой, очень теплый, и, поднявшись по визире на боровое возвышенное место, где почва в сухих сосновых иглах и шишках была туга и нагрета, как каминная решетка, я не стал бороться с искушением, сел, разулся, разболочся, съел баночку консервов «налим в масле, обжаренный ломтиками» и, пристроив в головах рюкзак, уставился в голубое небо. Изображение очень зеленых крон на яркой голубизне было четким, как на поздравительных открыт-

ках к Рождеству. Далекий охотничий выстрел из ружья только усилил ощущение благотворной безлюдности вокруг; я расслабил усталые члены и с готовностью отошел ко сну; сквозь смеженные теплые ресницы виделся голый сосновый рыжий ствол и по нему туда-сюда вниз головой сновал пестрый дятел, как головка швейной машины. Я какое-то время лениво недоумевал, потому что вниз головой видывал только поползня, но приписать ли увиденное к научному открытию, так и не решил: истома взяла свое, и я заснул. Проснулся уже на закате и до того воздушным, легким, что чуть не воспарил к зеленым верхам сосен; так чувствовал бы себя святой в скиту, решившийся пренебречь отныне также и обувью, и головным убором, а жить впусте и питаться диким медом от пчел. После размыкания век тела настолько не оказалось со мной, что пришлось нарочно повозиться, чтобы его вновь восчувствовать; не было также и души, потому что под ней понимается все-таки некая плотность мысли, а именно плотности-то и не оказалось: распаханному взору предстали все те же в красноватом свечении заката прямые колоннады сосен, зелено-голубой ажур небес и хвои, а меня со мной не было. Вероятно, после этого необыкновенного сна всё прошлое настолько отвалилось с души и с памяти, что новорожденный младенец и то предстает миру более отягченным. Возникло смешное представление, что отсюда во все концы отныне потянется этот сухой борок, а людей я уже не встречу никогда. Бесшумный кривоугольный полет белобокой сороки только подчеркнул блаженство полного неведения. Но сев и увидев разбросанные для просушки свои шмотки, я уже вновь стал озабоченным и себе доверяющим индивидуумом, и первое опасение было, смешно сказать, что святого и освященного меня теперь погонят из мира еще злее. Я испугался, что утратил и последнюю гранулу озлобленной греховности, минимально необходимой для борьбы за кусок хлеба. Выбыл из жизни совсем. Тут бы и остаться, срубить из подручных сосен какую ни есть избу и уже нигде в объективном мире не бывать. То есть, через минуту после пробуждения я уже чувствовал себя несчастнейшим существом, которое преклонило голову в последний раз. С неудовольствием подумалось, что это экологически святое место надо бы заприметить на случай, если московская квартира почему-либо мне уже не принадлежит, и надо будет насовсем здесь обосновываться. Чародейство, да и только. От неожиданной растерянности у меня легонько затряслись руки и ноги: так нелегко оказалось расстаться с остатками активной силы. Воздух заметно остыл, и окрестная прохлада напомнила, что надо либо разводить костер и чего ни то готовить на ужин, либо двигать к Решетникову на электричку.

К сожалению, я двинул к Решетникову на электричку.

Люди пожилые, опытные, пережившие не одно земное воплощение, согласятся, что проблема, перед которой я стоял, очень сурова. Сбросить часть половой потенции, чтобы гармонизировать жизнь, было даже необходимо, но случались дни, когда я всерьез опасался полной импотенции. В стенах-то я чувствовал себя еще сильным грешником, но на природе иногда происходила чудная декомпенсация: как из пульсара, из меня истекал пук половой протоэнергии (не физически, а в виде эманации), а видимого восполнения здоровья не наблюдалось, и страх остаться в сорок лет убогим и импотентом овладевал мною до глубины души. Сложность в том, что я понимал: почетом и уважением в нашем больном обществе пользуются злодеи и распутники, и, если я стану на путь полной святости, как писателя мир меня не узнает. Мне приходилось сталкиваться с артистической богемой, журналистами и высокопоставленными чиновниками, и я обнаружил, что это почти сплошь распутники. Или люди усиленных сексуальных возможностей, если вам так больше нравится. И эти циники, сквернословы, блудники не сходили с экранов телевизоров, их фотографиями пестрели газеты, они занимали самые высокие посты; от неприкрытой мощи их блуда в пространствах города нельзя было укрыться, разве что выбросив телевизор, радиоприемник, все газеты и книги. Но став бродягой, скитальцем, туристом, предпочтя здоровый образ жизни, я, конечно, семимильными шагами удалялся от еврейской грязи какого-нибудь Михаила Козакова, от одного вида кото-

рого разило конденсированной спермой и стриптизерками, но зато так же быстро расставался и с надеждами когда-либо издать книгу: издатели тоже люди, силу и распутство они тоже склонны смешивать с талантом, хотя это не всегда совпадающие сферы. Так что, избавляясь от грязи и в восторге от чувственной прелести природы, я очень значительно терял и в общественном уважении. Дилемма была налицо. Разумеется, если я заточу себя в скит, ко мне не придут на поклон премьер-министры, как к какому-нибудь Сергию Радонежскому: не то время, не те традиции. И это был мучительный выбор, который я снова и снова пытался делать в пользу безвестности и радости бытия, а не в пользу известности среди «звезд» (черт-те что за термин!). В конце концов, я хотел остаться п о р я д о ч н ы м человеком, но при этом настолько себя высветлить, чтобы не стать ни бомжем, ни грязнулей, ни дешевой популярностью, ни слабым человеком, ни калекой; я хотел стать мужчиной «в полном соку», а трехлетнее воздержание и путешествия очень способствовали одухотворению.

Путь был избран верный, но нет слов, до чего же мне хотелось поселиться в лесу насосем! Удались от зла, и сотворишь благо. А зло просто свирепствовало в первые после общественного переворота годы. Особенно жаль было видеть скромных, милых, добрых и простых людей, вытесненных этим злом на обочину жизни и даже умерших в бесславии, забвении и нищете. Что они могли противопоставить наглым грудям фотомоделей и глумливому подтруниванию насчет импотенции молоденьких журналистов «Московского комсомольца»? Да ничего: слабость и отчаянный молящий взгляд.

Мои джунгли были человечнее за почти полным отсутствием народа.

Запомнилась одна из тех пеших прогулок, которые следовало бы классифицировать как г о н ь б у или з а б л у ж д е н и е. Попытаюсь определить точнее.

Я вышел в Завидове, повернул налево через пути, прошел весь поселок до окраин в живописных сараях и дощатых развалюхах и по тропе мимо дач углубился в лес. Метров двести, до дач, след в след за мной ехал какой-то именитый и толстый, как яблочное желе, господин на новеньком «ауди» (ему, должно быть, доставляло удовольствие наезжать на пятки этому неуступчивому мужику в резиновых сапогах, потрепанных джинсах и с рюкзаком), но когда я ступил на совсем узкую тенистую тропу, он свернул в дачную улицу и больше не докучал. Хорошая кремнистая тропа была создана для наслаждения пешего хода. Грибов было совсем мало и молоденькие, двух-трех дней, и через несколько километров я вышел в очаровательную местность с полями и сенокосами, где было еще полно цветущих трав. На солнечной окраине поля стояла темная изба с узкими бойницами вместо окон и рядом с полутораметровой травой два крытых пустых сеновала. «Вот тебе и готовое жилье», – подсказал мне голос с неба. Однако оно внушало определенную тревогу, странное жилье без окон, без крыльца, с глухой дверью, забитой гвоздями, глядевшее фасадом на вспаханное глубоким плугом комковатое коричневое поле; вокруг не было ни тропы, ни тракторного следа. Так и казалось, что эта изба – искус для потенциального бродяги, уже не озабоченного сохранением социальных связей: он не стрижется в парикмахерской (тридцать тысяч простая стрижка с одеколоном), не платит за свет и антенну и, уж конечно, не ведет переговоров с издателями. Но в таком случае чего же он хочет, этот странный человек? Неужели для него трава, деревья, рыбы, звери – лишь повод для постороннего восхищения с тем, однако, условием, что ночевать он вернется на крахмальные простыни? Похоже, так оно и было. Я путешествовал не первый сезон, и мне становилось довольно ясно, что облик и достоинство человека как-то связаны с его жилищем и смельчак, переночевавший в заброшенном урочище, наутро уносил на себе черты неуютя, отпечаток несобранного грубого стола, запах соломы и лесных мышей; от такого 99 человек из 100 сразу же воротили нос. А со мной, по правде сказать, и так уже раззнакомились так называемые уважающие себя граждане. Мне это было довольно безразлично, я только посмеивался внутренне, когда какая-нибудь нарциссическая цыпочка, ведущая радиопрограммы, с торопливыми дамскими извинениями клала трубку, как только я изговаривался с ней обсто-

ятельно поболтать, или включала автоответчик, я ведь все равно знал себе цену, даже если бы пришлось, как Аввакуму, лезть в земляную яму, но оказываться в совершеннейшей-то изоляции все-таки не следовало: у этой игры, у общественной деятельности существовали законы, нарушать которые было себе дороже. Жилье, в котором давно пусто, внушает пустынные же и чувства, им следовало, во всяком случае, всерьез заниматься, обживать, – поэтому, покружив с сомнением пару минут вокруг, я вновь вышел на тропу и двинулся дальше. Пеший путешественник в гоньбе – это когда он не может остановиться, даже чтобы передохнуть, а все его влечет-завлекает дальше и в глубь территории со смутной целью, не обнаружится ли там чего-нибудь необыкновенного. Такой путешественник боится поваляться в траве, наслаждаясь покоем статики и летающими мушками, ему необходимо двигаться, точно к ногам приделан безостановочный мотор без тормоза. Я был в тот раз именно в таком психофизиологическом состоянии. Тропа здесь раздваивалась, и я пошел по менее заметной левой, предполагая на том ее конце какую-либо неизвестную деревушку, в которой еще, может быть, поселяне сидят с керосиновыми лампами. Постепенно по обе стороны развернулось тростниковое болото с березовым сухостоем, тропа шла по валу вдоль канавы, но все чаще пересекала разводья с болотной жижей, через которые приходилось перебираться по настилу из случайных коряжин. Из тростников навстречу вынырнул старик с полным лукошком грибов и на мой вопрос сообщил, подозрительно оглядев, что впереди никакой деревни нет, да и тропа исчезает сразу за болотом. Я ему не поверил и двинулся дальше. По бровке раз за разом все чаще встречались поспешно уползающие ужи, так что я, никогда прежде не встречавший живых змей, вооружился на всякий пожарный случаем прочным батоном. Через полминуты после старика встретился человек помоложе, без ружья или корзины, и ответил, что дальше по тропе будет поселок Туркмен, километров восемь, не больше. Это был оживленный, здоровый, совсем равнодушный человек, без задержки пошедший дальше, но после его сообщения я тотчас поверил, что никакого поселка нет, а тропа теряется сразу за болотом. Так оно и оказалось, когда вал закончился, и в веселом крупном березняке тропа разошлась сразу в двадцати направлениях. Розовых волнушек и змей здесь была прорва, и мне сделалось тревожно, когда я оказался подетски не в силах совместить показания обоих встречных путников; было очевидно, что гоньба завершается заблуждением. С другой стороны, и возвращаться уже хоженным путем – перспектива не из веселых. В метафизических взаимосвязях давно праздного мозга возникла навязчиво-действительная мысль о том, что опыту-то стариков необходимо доверять, а люди помоложе определенно заморачивают и дезинформируют: просто так, для смеху, идеологическая война такая – с заморочкой заблудившихся дураков. Поселок-то там впереди с таким странным названием и правда был, но за восемь километров от него глухим лесом я мог уклониться далеко в сторону и прочесать в этих болотистых малолюдных местах еще двадцать с таким же успехом. Я остановился, присел на сухой бугорок и в навалившейся тишине светлокожего леса впервые ощутил, до чего же чужда мне эта самая распрекрасная природа. Она возвращает тебя к реалистическому осознанию твоей плотяной конструкции и усталого тела, но слагает с себя всякую ответственность за твою конечную судьбу. Хочешь, располагайся здесь, приручай змей, как святой Антоний, а хочешь – возвращайся в Москву, приоденься почище и попроси аудиенцию у президента Ельцина. Положение твое в любом случае безвыходно в силу объективности мироустройства, при котором твое «я» без общества людей ограничивается пределами твоего же тела. Даже аукать бессмысленно, а вот если еще хоть сотню шагов пройдешь в этом направлении, то при серенькой обстановке на небесах как раз и заблудишься.

РЕКА ЛАМА – РЕКА ШОША



река Лама



река Шоша

Но самое сложное в воспроизведении прочувствованного – это все-таки соблюсти точность: ведь вот не садился же я на сухой бугорок в березняке за болотом, а, пошатавшись, просто повернул назад. Остальные чувства и детали при перепроверке точны, а этого не было. Понятно, что не избежишь наложения того психосоматического состояния, в котором пишешь, на то, что в действительности случилось тогда, но иногда важнее (то есть, всегда важнее) вновь пережить уже бывшее состояние в точности, без коррекции из сего дня. Человек, конечно, не компьютер, настроенный на воспроизведение, и гоголевский Хлестаков много бы потерял без его тридцати тысяч одних курьеров, но в путевых очерках преувеличения вроде бы ни к чему. Скрупулезной точностью и честностью, с которыми извлекаешь прошлый день из банка данных, всё не исчерпывается, в авторе мы любим его судьбу, образ мыслей и действий, а еще точнее – астральные характеристики, но даже в наши дни повального замусоривания мозгов мистикой и первобытным дикарством моя-то задача – иная: воспеть прекрасность жизни, как выразился другой автор. И эта прекрасность жизни – совсем иного свойства, чем та, которую, быть может, чувствует кое-кто в обществе, в толпе, в Шанхае-Мехико-Москве, над которыми, вероятно, просто-таки клубится смог общительности; вот пускай в этом смоге и рождается какой-нибудь Кафка для исследования извращений цивилизации и состояний деструкции. Я к восприятию такой прекрасности не всегда способен, а в означенный период времени – бежал от нее (из города). Требовалось не то, чтобы прийти в состояние душевного комфорта (оно наступило позже), а как бы вернуться в изначальное, привычное состояние. Причем, выезжая далеко за город, я не особенно задумывался над причинами своих вылазок: прежде я любил (от привычки это делать) колоть дрова, носить воду в ведрах на коромысле и при случае прогуливаться в лесу и, естественно, тосковал по привычному. Новое (техника, формы общения) напирало чересчур агрессивно (то есть до того, что я бы лучше подрался путем рукоприкладства, чем в таких иносказательно-ритуальных трансформациях это новое зреть); на поверку

оно оказывалось лишь подмалевкой хорошо забытого старого (автомашина = лошадь, компьютер = няня, Сталин = спикер Хазбулатов), но вело себя это новое так, точно завалит всех манной небесной и сделает жизнь неузнаваемо прекрасной; и при этом порывивало, пытаясь напугать непонятностью, ложью, мишурой. В такой ситуации обратиться к простому и вечному сам Бог велел.

И были, конечно, отношения с родней и друзьями, до того гадкие, что пожалеешь, что не сирота, не воспитанник детского дома. Определение сроков зависело от них, но не в такой мере, чтобы они смели определять мою пользу и достоинство (см. также начало повествования про шлюх-интеллектуалок). На мою пользу и достоинство в те лета, в частности, в сентябре 1996 года, мне было в известном смысле наплевать, потому что мои мысли были об ином. По видео или в кинотеатре они могли сношаться на экране по три часа: все равно это были старье и лапша, но старье и лапша агрессивные, от которых ты становился старше и терял потенцию (на что и рассчитано). А между тем, при всей загаженности окрестностей города идеограммами, существовали места, где все было нормально: как в детстве, как всегда. Избы из дерева, никакого стеклопластика, бетона. Кое-где свободно прошмыгивали меж штакетин симпатичные кошки, в огороде росла бузина. Виднелся горизонт (для стенообразно и барьерно мыслящих это понятие сложно, а может, и недоступно). Дул ветер. Текла вода. По земле можно было ступать босиком. Чтобы туда попасть, надо было только попариться в электропоезде.

Замыслы, рожденные в квартирах, определяются, вероятно. Некой нереальностью. Потому что цель-то была обогнуть пешком водохранилище Московского моря (Иваньковского), и цель эта казалась вполне реализуемой, и даже в течение светового дня. В действительности же каждое путешествие в этот район оказывалось паллиативом замысла. Впрочем, при больших, чем у меня, средствах и известной настойчивости я бы этот план осуществил, пешком и без дорог. Но, встав на дорогу, я, честно говоря, забывал о кабинетной стратегии: уж больно она оказывалась глупой. Как заявление какого-нибудь госсекретаря, уже забывшего за бумагами и речами жизненную конкретику. Когда уже с платформы ты волен отправиться куда угодно, а не домой или по делам, как остальные пассажиры, – в этом, поверьте, есть что-то божественное.

В тот раз я все же решил придать хоть относительный прагматизм своим поездкам, попытавшись порыбачить в одном из водоемов. Поэтому побросал в рюкзак пару лесок, намотанных на деревянную планку, огниво, карту, носки, свитер, походную посуду, так что он не обвис против обыкновения, а округлился. И со всем этим решил еще и отъехать на автобусе куда подальше от «артерии» (назовут же, прости Господи, две параллельные железяки таким нежным именем!). В большой и благоустроенной деревне Козлово я выгрузился, спросил дорогу на реку Лама и, не получив вразумительного ответа, двинулся наобум по шоссе: меня часто принимали за дурака или шпиона, хотя трудно допустить, чтобы местные жители не знали рельеф в окрестности хотя бы сорока-пятидесяти верст.

Возможно, в этом путешествии сконтаминировались два разных. Вероятно также, что я даже записывал по ходу дела названия деревень, а это, как показывает практика, верный способ забвения. Либо ты доверяешь «чистой» естественной памяти – и тогда потом всплывают хотя бы локальные картины. Либо ты, как человек цивилизованный, книжный. Записываешь свои впечатления тотчас («ни дня, дескать, без строчки») – и тогда действительные чувства в пути уже невоспроизводимы, или поддаются расшифровке с большим трудом. Либо ты натуральнее машины, и тогда с тобой все в порядке, либо машина, которая все чаще притворяется человеком, тебя сожрет: тебе покажется, что надо угнаться за, а просто жить и радоваться ты не сумеешь. Восстановление естественного фона взамен искусственного происходило порциями, так что, возможно, какие-то куски при перестройке завалились в подсознание. Хитрость и преимущества крестьянина и простого человека вообще заключаются еще и в том, что он всегда доверяет своей голове и не выставляет себя на посмешище-позорище через увлечение

искусством, политикой и прочими надстроечными играми. Уж он-то чувствует, что лошадь умнее машины – любой машины, даже напичканной электроникой, и спокойно себе живет – хозяином над природой, машинами и своими домашними.

Моя память воспроизводит только участок пути на мосту через реку – видимо, Ламу, -возле деревни Курьяново (в записной книжке «Ульяново», со слов туземца, хотя готов поклясться, что со слухом у меня было все в порядке). Это, кстати, особая тема: нелюбовь местных уроженцев к пришлым – приезжим; а уж как москвичи ненавидят всех, кто не в Москве родился, – этого вы себе представить не можете, – как они их хотели бы извести-заморочить. Но думаю, что такое же явление наблюдается и в Париже по отношению к урожденным лангедокцам или русским, поэтому пока что имеет смысл просто констатировать проблему: местный житель назвал длинную деревню у моста Ульяново, а на карте она обозначена как Курьяново. Впритык к шоссе красовалась приземистая, мощная, как форпост, дача, видимо правительственная – с будками за воротами и забетонированными насаждениями в виде восьмиугольных клумб, а на мосту, перегороженном шлагбаумом, дежурила автомашина ГАИ во всеоружии – с мигалками и двумя упитанными городскими. Они стояли на мосту, как фишки лото на своем квадрате, непреклонно и прочно, а прилегающая местность была так ухожена и гладко заасфальтирована, что не приходилось сомневаться, что за этим мощным красивым забором проживает важная шишка. (Позже я узнал, что где-то в тех местах и впрямь существует правительственная резиденция, хотя вряд ли виденная мною была именно она). Я приближался к шлагбауму с трепетом нарушителя государственной границы, потому что вокруг давно не было ни души и не проезжало ни грузовика, и не сомневался, что меня остановят, однако мне дали обогнуть шлагбаум и перейти на ту сторону. Местность была на диво унылая, а вскоре и асфальт кончился – пошел противный гравий пополам с песком на приподнятом и готовом к покрытию шоссе, и сапоги до колен запыхлились. Налево виднелись побережья реки и деревня, направо – извилистые поля с перелесками в золоте осени. День был дымчатый.

Раз уж уточнить, дважды или однажды я побывал в тех местах, нельзя, то предположим, что надвинулась ночь, которая застала меня в местности нескольких близких деревень и дачных поселков по извилистым берегам Ламы. В одной из них, перекусывая на скамье возле заброшенного магазина (вывеска имелась, а все помещения проветривались на проход, загаженные, в битом кирпиче и битом стекле) в виду коммерческого киоска напротив и наискосок (продащица сидела на ступеньках и читала книжку), я задумался о ночлеге и дальнейшем пути. Впереди по курсу светились уже вечерними огнями еще две деревни. Хотя в моей я углядел несколько заброшенных сараев, ночевать в них не тянуло, а отдых мыслился с костерком на берегу реки. Поэтому, перекусив, я накинул рюкзак на плечи и поплелся к первой. Сильно свечерело, и все отуманилось сизым сумраком. Меня мучили избыточные ассоциации, поэтому мужик на лошади, перегонявший через шоссе несколько коров, показался отчего-то похожим на тестя (тесть, как и мой отец, был человек деревенский), однако я храбро с ним заговорил, убедив себя, что представление это, конечно же, навязано и не соответствует. Правда, из давних разговоров удалось припомнить, что тесть (или его матушка – бабка) корнями происходят откуда-то отсюда, из района Конаково – Завидово, но из этого вовсе не следовало, что я приехал в некоем смысле к ним на свидание. А может быть, именно что следовало, но в таком случае в сознательности меня уж точно не обвинить, потому что целью-то было как раз обратное – отделаться от излишней мыслительной сосредоточенности на семье, которую я давным-давно физически оставил. Мужик, показывая рукой в вечернюю дымку, сказал, что там вон случилось пару раз останавливаться московским рыбакам, если меня прельщает клев на утренней зорьке. Клев меня не прельщал, потому что, повторюсь, я не любил волжских притоков, но бесприютным, одиноким, позабытым я себя, точно, чувствовал. Коровы и лошади были первыми отрадными впечатлениями за многие дни. Следуя указаниям обстоятельного пастуха, я пошел по тропе и оказался на берегу реки, возле кучи стружек и строительного мусора. Вплотную

к берегу примыкали бани и глухая изгородь, и я двинулся было туда, надеясь пройти берегом, но какой-то мужик (мучили ассоциации, и он мне показался похожим на отца той женщины, с которой у меня была когда-то горячая, но бестолковая связь), готовивший, видно, из всего этого мусора компост для огорода, сердито буркнул, что тут не пройти.

– Чего же не пройти – тропа-то есть, – усомнился я.

– Говорят тебе, не пройти, – повторил он еще сердитей, выливая на свою помойку ведро картофельных очисток: ему явно не хотелось, чтобы я со своим костром располагался здесь, на удобном берегу, и рыбачил с деревянного помоста. Река была чужда, полноводна, ровна в течении и цветом точь-в-точь, как баббит, кусок которого я взял для грузила: интенсивно серая. Поведение сердитого домохозяина забавляло, но мне в любом случае следовало сперва позаботиться об удилище, а дальше по курсу виднелся отдаленный лесок, и в нем искомое можно было найти. Нетерпения не было, но некоторое любопытство рыбака при виде незнакомой реки немного будоражило, поэтому в лесок я не пошел, а попытался подыскать что-нибудь подходящее в ракитах на берегу. И вот тут, в этих невзрачных голых и унылых, как кованые узорные решетки какого-нибудь городского особняка, в этих грязных ракитах и желтой траве, в этой глинистой нездоровой каке по-над самой водой я опять ощутил, что вхожу в сферу дежа-вю. Точнее: дежа-сантю. Я-то сам живьем здесь точно никогда не был, да и женина родня вплоть до прабабки – тоже вряд ли (я в этом как-то сразу уверился), но кто-то, с кем я либо не очень давно общался, либо прообраз одного из родственников-мужчин здесь точно так же слонялся; возникло сложное чувство, что, возможно, это был и я, но не в своем нынешнем теле. То есть, это, разумеется, чушь, но эту белесую траву, белую глину и ракиты, грязные еще с весеннего половодья, определенно видел. Мною овладели тревога, беспокойство и подспудное раздражение, как у человека, который ступил не на ту дорогу, знает, что направление ошибочно, но из упрямства все же из тупиковой ветви лабиринта в открытую не возвращается, чтобы продолжить поиски более продуктивно. Во всяком случае, в тот вечер мне было ясно, что по этому миленькому узкому извилистому шоссе сквозь лес и далее я не пойду, хотя подрейфовать в ту сторону имело смысл. Эта полноводная река мне до того не нравилась, что я даже сплюнул на берегу, выбрал на шоссе и, не спеша, по нему поплелся к последней деревне. Я был весь в сомнениях: рвануть ли к привлекательной опушке леса и расположиться на ночь табором или вырубить там только удилище, а заночевать все же на берегу? А главное, не хотелось делать это по-цыгански, а напроситься к кому-то на ночлег не поворачивался язык. Я опять оставался наедине со всею своею ненужностью – с килограммами ненужных рукописей, несколькими ненужными семьями и друзьями. Один как есть. Правда, это определялось скорее как самость, самодостаточность, и от него было не грустно, но все-таки то, что я поставлен перед необходимостью ночевать на этих невеселых берегах, даже приключением не назовешь: так, глупость. Глупость, романтизм. Этот хрен в красивой даче с мониторами, фотоэлементами и металлоопределителями по всему периметру, небось, в таких легкомысленных авантюрах не участвовал: он до того наострился вешать лапшу и чувствовать себя руководителем, что и остальные признали в нем значение, им для себя присвоенное; он теперь живет на берегу Ламы в оградке и мыслит себя королем.

Но и я бы не назвал себя несчастным. «Необеспеченный» – вот более точное слово. Бродить в сапогах по жнивью и осенней мокряди – большое удовольствие. И ночевка на берегу – это было как идти на встречу с человеком, которого не расположен видеть; и я эту вынужденную глупость оттягивал, – свернул не на проселок к деревне, а от него, в поле. Здесь, в кустарнике, по-осеннему пахло жухлой травой, а потом потянулись узкие заросшие протоки с темной водой, где повсюду втихую плавали вертлявые дикие утки, подпускавшие на десять шагов. Пейзаж был немного ирреальный: ровень с берегами наполненные водой протоки (или старые дренажные канавы), густой ивняк и разубранные золотом березки, под которыми там и сям торчат грибы, клиньями вторгающееся комковатое поле, по которому бродят какие-то черные

птицы – то ли скворцы, то ли галки, то ли грачи; и все это в густом вечернем запахе прели, мокрых листьев, стерни. Тревожное чувство генетического самоповтора и «дежа-сантю» исчезло, потому что этот вид был незнаемый, новый, небезразличный. Воды в этих местах, похоже, было хоть залейся. Утки колотили крыльями по воде и улепетывали, но не взлетали.

С целесообразно устремленным человеком на путях этой страны происходят малопонятные превращения (может быть, разжижение мозга?), поэтому о задаче вырезать удилище я позабыл тотчас, как ее поставил, и теперь бродил в свое удовольствие и без цели: осень, влажные сумерки. А потом уж, когда прискучило, и я повернул к деревне, подумал, что в такой хмурой реке можно и с палки поудить: какая, в сущности, разница. Наверняка отыщется на берегу какая-нибудь палка метра полтора-два. А вот с наживкой гораздо хуже, потому что копать червяков сейчас уже поздно, слишком темно, а утром не захочется. «Может, она, дура, на голый крючок берет, если только водится здесь», – подумал я о рыбе...

Прошел всю деревню насквозь в оба конца, примечая, где бы расположиться. Следовало тоже позаботиться о питьевой воде для чая, потому что вода из Ламы для этих целей явно не годилась, однако в двух дачах, куда я с этой просьбой обратился, мне отказали, сообщив, однако, что где-то за деревней есть ключ, а что питьевую воду сюда доставляют в цистернах. Мать Божья! Они все здесь, в этих хоромах, во-первых, скупердяи и, во-вторых, чокнутые. Если, конечно, это не очередная дезинформация – насчет привозной воды. Обиды на этих жмотов не было, потому что я был в превосходном меланхолическом настроении, но идти искать ключ, чтобы наполнить флягу, тоже не хотелось: смерклось уже так сильно, что два фонаря – у шикарной двухэтажной дачи при входе и в дальнем конце деревни – отбрасывали плотные уютные круги света. Деревня, за исключением двух изб при входе, была целиком дачная, иные дачи, укрытые глухими заборами с колючей проволокой, еще строились, другие, новые и подешевле, уже обживались оживленными армянами, в третьих было пусто и глухо. Возле одной, из силикатного кирпича, с аркадами, галереей, эркерами, в помпезно-аляповатом стиле нувориша, торчали сразу две иномарки. Владельцы, обтирая руки ветошью, и сами не ведали, до чего они напоминают конюхов, которые скребут лошадь, прежде чем отведут в конюшню. Я перекинулся с ними парой слов и, уловив довольную радость собственников перед неимущим, подобрал одну из валявшихся на земле пустых прозрачных литровых бутылей и ради эксперимента наполнил ее речной водой с плотика, причаленного к берегу. В свете уличного фонаря оказалось, что вода и точно нехороша: мутная, с какими-то взвесями. Я вылил ее обратно в реку, независимо прошел мимо конюхов, решив попросить воды в какой-либо даче попроще. Такая нашлась, к ней тянулся кабель, а из окна доносились звуки пьянки. У них воды тоже не оказалось (зачем им вода, если они пили водку), но юноша кавказской наружности, видимо, еще не совсем идиот, проявил приятную предупредительность, сбежал к соседу, в дачку за глухим забором, и оттуда принес мне точно такую же бутылку воды. Я поблагодарил и двинулся в обратную сторону. Избы, давшие начало дачному строительству, были темны от времени, кособоки, с неряшливыми пристройками и крыты толем, но внушали теплые чувства, потому что окна были в занавесках и внутри ощущалась устойчивая обжитость; над крышей торчали антенны и виднелись разработанные огородцы. Бедностью от них тоже повевало, но чувствовалось, что это местные жители. Совсем стемнело, а я еще не знал, где заночую. Собственная нищета ошутимо дала себя знать, но я был свободен, а ночь приятна. Ближе к выходу стояла еще одна шикарная дача, и в высоком втором этаже, под мезонин, горели огни, и доносилась музыка вечеринки. С широкого, на три стороны, крыльца, приступы к которому были только что забетонированы, меня облаяла овчарка, и я с удовольствием запустил в нее камнем. Я чувствовал себя немного шервуд-андерсоновским бездомным или святочным мальчишкой, который лицезрит богатые витрины, но, повторюсь, люди в то время казались мне вообще очень враждебными, с особенной целью готовыми испортить радость, им не знакомую, – быть свободным и ночевать под звездами. Это трудно выразить точнее,

но думаю, что именно этот пункт моего поведения в особенности озлоблял их против меня. Мне же от них решительно ничего не требовалось, даже с водой, если бы не получил, я бы что-нибудь придумал (и молодой южанин это, похоже, понял). Последней по берегу, тылом к реке, стояла одна из двух изб, с простой скамьей у завалинки. Ни шикарная дача, ни изба со стороны улицы огорожены не были, я прошел под окнами и за углом избы свернул к реке.

Да, похоже, лучшего места на эту ночь не найти. Тропа шла вдоль глухой, без окон, бревенчатой стены и выводила к деревянному плоту на воде. Дальше, на отшибе, темнела пустыми глазницами еще одна недостроенная дача из бруса, но оттуда ничто не угрожало. Место было спокойное, приемлемое, но едва я, сбросив вещмешок и скоренько собрав кое-какой хворост, приступил к разжиганию костра (приспособив пяток битых кирпичей, кто-то этот очаг на берегу уже пользовал; и лучше выдумать не мог), как в огород за домом проверить парники вышла сухопарая хозяйка избы, простоволосая и с лейкой, и я понял, что придется решать территориальные вопросы. Невольно произошла странная штука: присоседивание. Где-то на периферии сознания возникла даже мысль, что и далеко за стенами ее избы я вроде как с этой бабой чуть ли не делю ложе и надо объясняться и аргументировать. Правда, уже направляясь к ней и поздоровавшись, я тотчас ощутил, что она человек уравновешенный и своими считает только объемы избы и огорода.

– Я тут у вас порыбачу утром, – сказал я просто, указывая на разгорающийся костер.

– Ради Бога, – ответила она еще проще. – Только тут наверно змеи есть. Вы из Москвы?

Территориальный вопрос был решен, но ей хотелось почесать языком. Что-то в ней было, опять-таки по навязанной ассоциации, от одной из шлюх-интеллектуалок, с которой я насилу развязался и которая из меня выкачала не только всю сперму, но и семь восьмых разума: хорошенькая еврейка беспредельной подлости. Отдельную тему тех впечатлений лучше оставить на потом, но эта дачница живой показатель заинтересованностью и огородными обрядами определенно ее напоминала. «Вот и отлично, если я и с ней таким образом, наконец, разделюсь», – помыслилось как-то мимоходом Я с готовностью объяснил, где живу, и выяснилось, конечно же, что и она живет в том же районе столицы: почти соседи. От этого факта я ощутил тяжелую тоску и новую готовность навсегда покинуть это государство и никогда здесь не появляться: ни визуально, ни устно, ни письменно. Здесь люди как картошка: все в гнездах, и правят ими, похоже, колорадские жуки. Мы поговорили о дороговизне московской жизни. Выяснилось, что моя собеседница из местных, эта изба принадлежала еще ее отцу, а в Москве у нее работа, муж и замужняя дочь, живут в Гольянове. Создалось впечатление, что она скучает и вот-вот пригласит меня на чай. Чтобы это приглашение не сорвалось с ее губ, я попросил разрешения воспользоваться досками, сложенными вдоль стены, чтобы устроить себе лежанку.

– Какой разговор, конечно, берите, – сказала она. – Только здесь змей полно. И сухая трава – она у вас не вспыхнет от костра? Такой ветер нынче.

Я заверил ее, что не вспыхнет. Тогда она обратила мое внимание на две картофельные грядки, еще не копанные, – точнее, выкопанные весьма неряшливо.

– Там еще есть картошка. Можете набрать себе для ухи. Я вообще люблю помогать людям.

Я едва не прослезился в ответ: точь-в-точь, как та еврейка: на тебе, Боже, что нам не гоже; уж как она, бывало, с утра до вечера говорила о любви к ближним, имея при этом в виду только свою выгоду.

Но, наконец, до моей собеседницы дошло, что я хочу остаться один, и она убралась вместе со своей лейкой. Я разровнял костер по всей длине примитивной печурки и поставил на кирпичи котелок с водой. Дожидаясь чая, еще раз, для верности, поужинал – свиной тушенкой и черным хлебом, предполагая, что к завтраку у меня все же будет уха. Уличные фонари были вознесены высоко, их свет достигал воды, и рыба то и дело всплескивала по всей освещенной поверхности, принимая электрические блики за солнечные. Судя по всплескам, это была

плотва, и все мелкая; сколько-нибудь крупная рыба так и не плеснула ни разу. Я натаскал досок и соорудил с подветренной стороны широкую лежанку, но, памятуя о змеях, лечь на ней не рискнул. Рядом стояла узкая скамейка, но по длине она была коротковата. Пришлось опять, как в Ершове, настелить доски накатом и устроиться таким образом. В прорехах быстро бегущих тонких облаков опять мерцали звезды, но свет костра и фонарей наслаивался на картину ночного мироздания и смазывал впечатление. Дул свежий ветер, жар костра сюда не доставал, и я скоро продрог. Сразу стало понятно, что и на этот раз не заснуть. «Аз есмь глупость сотворих, ты еси глупость сотворил, вы есте глупость сотвористе...» – пытался спрягать я старославянские глаголы в надежде заснуть. Облака бежали легкие, кружевные, с белыми подпалинами там, где подсвечивались ущербной луной; иногда на минуту небо совсем очищалось, созвездия Кассиопеи и Большой Медведицы словно перемигивались с луной. А я-то раньше считал, что в лунную ночь звезд не видно. Нет, не заснуть. Я перенес доски к костру, еще расширил лежанку, переобулся, застегнул куртку на все пуговицы до горла и решил: будь что будет, на своем широком ложе я сразу замечу змею и пристукну ее каблуком. А пока следовало еще натаскать хвороста, чтобы хватило до рассвета. С этой целью я направился к недостроенной даче, но угодил впотьмах в глубокий овраг и насилу выбрался оттуда, весь в колючках чертополоха, как еж. Окрестности были скудны хворостом. Я прокрался под окна моей новой знакомой и, убедившись, что она смотрит телевизор и попивает полуночные чаи, украл из кучи строительных материалов большую охапку дров. Теперь должно было хватить до утра. Я подбросил дров, очень тщательно выровнял лежанку, огородив ее со всех сторон досками, поставленными на ребро, и отправился развешаться вдоль по деревне. На крыльце дачи, которую сторожила трусливая овчарка, попеременно выбегали молодые люди, обеспокоенные появлением бродяги, потом двое из них, парни, с хмельными восклицаниями сели в машину и укатили, звуки музыки смолкли, а на крыльце еще какое-то время стояла девица – вероятно, в размышлении, взять овчарку в дом или оставить сторожить. Наконец она решила, что собака надежнее сторожит за запертыми дверьми, – и все стихло.

Я сидел на завалинке под окнами моей новой знакомой и пытался сидя вздремнуть, как когда-то, когда был еще очень молод, мог переносить тяготы, а о гостинице и не помышлял, приученный к лишениям всем многовековым опытом своих предков-крестьян. Это был более древний опыт, чем у горожан, опыт бревенчатой Руси, но он оказался малопригодным в цивилизованной жизни, как она понимается европейцами. Пожалуй, в терпении, самоограничении, в посте и работе предки больше напоминали постоянно недоедающего индийца или китайца, изнуренного и поколоченного женами: та же скудость, бедность, те же жертвы ради счастья детей. Какая-нибудь англичанка возраста моей матери – да в гробу она их видела, этих детей: она садится в автомобиль и на дюнкеркском пароме едет проветриться на материк, потому что ей приспичило побывать в музее Прадо. А моя мать? Да ее хоть на икону тотчас перерисовывай – такое лицо...

Утром стало понятно, что рыбалка не состоится. Тумана почти не было, но холод и промозглость пробирали до костей. Река буквально кипела от играющей рыбы, но в течение часа не удалось поймать даже сопливого ерша. Я позавтракал остатками тушенки и выпил две кружки чифиря, потому что спал мало и плохо. В сереньком рассвете было что-то до того унылое, что и самый жизнерадостный человек ощутил бы себя несчастным. Река не текла, а спала; в ней было что-то до того древнее и печальное, что становилось горько за бесчувственность всей природы. И воды в ней было столько, что казалось странным, откуда она ее собрала, начавшись всего лишь под Волоколамском.

Владелица дома и огорода оказалась дамой со странностями, потому что уже в шесть часов снова торчала за оградой. Похоже, она беспокоилась всю ночь от нежеланного соседства и чуть свет вышла проверить, не украдены ли последние огурцы из парника. Я открыл было рот в совестливом намерении признаться, что украл дрова, но тотчас закрыл, ощутив досаду,

что не пришло на ум украсть еще и огурцы. Какое это, должно быть, блаженство – иметь собственность: столько забот, тревог, волнений. И я бы с удовольствием имел, если бы производимый мною продукт пользовался спросом у российского населения. Купите у этого гения его выдумки, купите при жизни, а не потом, когда вы станете его именем преследовать талантливых людей другой эпохи. Владелица дома и огорода, признательная за мое желание смотать удочки, рассказывала, что в восемь часов утра во-он из той деревни отправится автобус до Козлова, а оттуда до станции Завидово опять-таки ходит автобус. Я благодарил и жаловался, что клева совсем не было. Дама меж тем уже подбирала предлог, чтобы выведать у меня номер московского телефона – по той, одним горожанам свойственной манере предполагать в другом человеке пользу для себя, и этим опять живо напомнила мне ближневосточную зазнобу, которая шла по следу пользы уверенно и вдохновенно, как собака, когда она б е р е т с л е д. Промашка этих людей в отношении меня заключалась в том, что. С одной стороны, и правда, я был человек полезный и очень значительный (в настоящем и будущем времени) и одновременно очень ничтожный, может быть, всех ничтожней, и это сбивало многих с толку (эту вторую мою ипостась очень хорошо чувствовали столоначальники, когда я приходил к ним с рукописью, особенно те, которые кресло для посетителей устанавливают ниже своего и похуже). Она уж совсем было подобралась к предлогу, но тут я к слову молвил, что уже два месяца как безработный, и дама прикусила язык, поняв, что о работе и специализации я с ней говорить не захотел. Костер уже настолько иссяк, что его и тушить не требовалось. Я приладил рюкзак на горбу и попрощался с моей новой знакомой – почти таким же непознанным, каким и пришел. Было как-то неопределенно хорошо – от сна на воздухе, краткого, но целительного, от горячего крепкого чая, от того, что, уверив эту даму, что пошел на автобус, я знал, что на автобус не пойду. Как хорошо быть человеком без замка, без кода, без отмычки, человеком, которому не скучно одному.

Тут нить воспоминаний исчезает. Очевидно, она перевилась неправильно. Последовательность воспоминаний должна была быть иной: от Козлова пешком восемь километров до деревни Дорино – здесь или в деревне Юрьево ночевка на берегу Ламы – и только затем мост через Ламу, ГАИ, деревня Курьяново (Ульяново). Так что, вероятнее всего, путешествие на Ламу совершалось с одной ночевкой, однократно.

Итак: «налево виднелись побережья реки и деревня, направо – извилистые поля с перелесками в золоте осени. Утро было дымчатым. А вскоре, миновав мостик через очень заросшую речонку, я уже входил в красивую деревню Синцово (как о том сообщила первая же встречная старуха). Аккуратные палисады, опушенные избы, крашенные в коричневый, голубой и зеленый цвета, – я медленно брел под окнами, срывая недозрелые ягоды боярышника, надеясь найти колодец, и – трудно, да и нежелательно выразиться точнее! – замирал в страхе от подползавшего страннейшего ощущения: что вроде как сейчас встречу бабку и деда по материнской линии, что вроде как они здесь живут. И еще: что я некоторым образом святотатец, кошун, самый праздный человек во всей этой стране, нарушивший законы сообразия. Разумеется, ни сном, ни духом я никогда в этой деревне не был, но она якобы напоминала ту, в которой я бывал, живучи в детстве у деда с бабкой (и о путешествии в которую речь еще впереди). Все русские деревни конфигуративно напоминают одна другую, но вот эта тропка, ведущая в расступившийся заулочек меж изб, – так и казалось, что я бегивал по ней вон в тот лесок. Ощущение запретности было так настойчиво, что, решившись – через не могу, через запрет – дойти до середины, до малой площади, посреди которой возвышалась сильно разрушенная, осыпавшаяся красно-кирпичная часовня, местная л`Арк де Триомф, я вынужден был повернуть назад, так и не узнав, что за поворотом. Мистические рассуждения об искаженном времени, о дырах в пространстве, о якобы подобранных недавно пассажирах «Титаника» и всяких Летучих Голландцах, которыми заполнены современные наши журналы, – все это, разумеется, совершеннейшая чепуха, но мне, стоящему у обочины зеленой чистой деревенской улицы, трудно было

избавиться от сладкого чувства, что вот здесь бы, где живут мои дед и бабушка, следовало бы, наконец, и поселиться. Изба, огород, лесок, поле, речушка. Здесь бы и поселиться.

Но как это сделать? Что – присесть на лавочку, сбросить рюкзак, да так и остаться?

«Ну да, – уговаривал внутренний голос. – Ты же любишь это, а не город. Вот здесь чисто, светло, здесь ты в ладу с дедом и бабкой и проживешь их жизнью. Ну же!..»

Я почувствовал холодок в груди и в мозгу оттого, что и м е н н о т а к и с л е д у е т п о с т у п и т ь. Прочь все мысли о том, где жить, и на что, и как с работой. Недельку-другую перекантуешься здесь, а потом обживешься, – здесь живут с в о и.

Я действительно опустил на лавочку под окнами самой простой и бедной бревенчатой избы, действительно снял рюкзак. Как-то всё это было беспощадно: выбор места. М е с т а ж и т е л ь с т в а. Без всякой канители, без бумаг и начальства: пришел и поселился. Может, люди и впрямь сумасшедшие, что придумывают условности?

Да что говорить, Господи: я не внял этому голосу, этому совету. Я заглянул в окна избы (занавесок не было), увидел бедную никелированную кровать, стол со скатертью, печь, горшок с геранью (н е д о т р о г о й), слабо освещенную внутренность комнаты, – и отпрянул: сердце у меня защемило от грусти. От грусти, от боли, от одиночества. Да, да, да, мне следует разделить участь этих людей, их праведные и честные труды. Следовало бы...

Но я на это не решился. Оставив рюкзак лежать, я почти боязливо вернулся немного назад, попросил у какой-то бабки, возившейся в сарае, воды напиться, выдул половину ковша, который она принесла из сеней, и опять вернулся на скамеечку. По тропе из заулка ковыляла юродивая. В синем шерстяном платке с бахромой, в фуфайке и сапогах, она передвигалась, как все калеки с нарушением опорно-двигательного аппарата, – раскорякою, но довольно ловко и без палки. В руке держала ведро. Я ощутил почти стыд, а сердце охватила волна жалости и страдания. И еще что-то, от чего показался себе трусом и предателем. Изменником всех страданий людских, потому что радовался, и еще хотел радоваться, и впереди у меня был целый день неиссякаемой радости. А следовало бы произрастать одною жизнью со всеми этими сельскими людьми, а не быть выскочкой, сукой и барином наравне с сотнями тысяч других толстопузых бумаготворцев.

Увы! И этот стыд опалил меня лишь на мгновение.

Синцово было деревней, которой я оказался не достойным. Здесь виднелись несколько автомашин и кирпичных гаражей, но не от вида автомобилистов я вдруг закомплексовал, как обычно, а от неготовности избрать судьбу рода: п р о с т о г о рода, простонародья. Точно опять, как на Ламе, вошел в тупиковую (точнее: жилую, непроходную) ветвь лабиринта и надо выкатываться вспять, на колею, по которой меня гнало ветром странствий.

В моем характере есть противоречие: чем сильнее я внутренне смущен и озадачен, тем внешне держусь непринужденнее и свободнее. Напротив, дома через два, на бревнах курили старики, уже принявшие на грудь, несмотря на утренний час, темные от времени, загара и крепкого табака (и один из них, самый щуплый, чем-то неуловимо уже знакомый), и я смело двинулся к ним, чтобы спросить дорогу дальше. Они-то давно поняли, что я не местный и вроде как заблудился, ждали, что я обращусь с расспросами, – так следовало их ожидания подтвердить. Они сказали, что тот большак, мимо которого я входил в деревню, это и есть дорога на реку Лобь. Только не на Лобь, а сперва на Шошу. Лобь будет притоком Шоши. Сколько километров-то? А четырнадцать. Да там лесовозы ходят – подвезут. Следующая деревня будет Селино. А если тебе надо поселок Изоплит, так это ты, брат, не туда завернул. Это тебе надо было проехать до станции Редкино и там выйти. А из Селина в Изоплит ты не попадешь, не-ет. Туда дороги нет. Там еще дальше будут другие деревни и большое село Тургиново. Не-ет, в Москву ты теперь никак не попадешь, разве только вертаться надо. Из Тургинова в Москву? Не-ет. Из Тургинова ходит прямой автобус на Калинин, а уж оттуда на Москву. Намнешь ноги-то, если пешком до Тургинова, километров двадцать пять – тридцать будет.

Я поблагодарил сердечных мужиков и не спеша двинулся вон из красивой деревни Синцово. Синец – это такая плоская речная рыба незначительных размеров, граммов на двести. Возможно тоже, что этимология названия деревни совсем другая.

Нет слов описать, с каким удовольствием я свернул на грунтовой большак в предвкушении четырнадцати километров пешего хода. Сперва шел неприглядный мелкий лесок, а слева тотчас открылось бескрайнее моховое болото с редкими соснами. Дорога представляла собой чуть приподнятую насыпь песка и гравия, пролегла прямо по болоту и сотрясалась даже от моего одиночного веса; а уж когда встретилась машина, она просто всколебалась до основания на всем протяжении, точно мостик на тросах. Последнее испытание я прошел, когда встретил группу коричневых таджиков, мужчин и женщин, перепоясанных по-восточному, и принял издали и по близорукости самого большого, толстого и хромого аксакала за своего деда (достаточно оказалось визуальной формы, хромоты и смуглоты, а уж потом воображение разыгралось вовсю; было вообще странно, почему встречаю с в о и х, если ареал принадлежал когда-то тестю?). Восточные женщины громко тараторили, в руках несли маленькие корзинки, за спиной у мужчин висели рюкзаки. Я понял, что они возвращаются со сбора клюквы, а через какое-то время и сам свернул на болото, в мечтах уже предполагая, что все же не зря путешествовал и часа через три-четыре вернусь с полным рюкзаком клюквы. Увы, через час прилежных экскурсов по зыблущимся кочкам я не набрал и кружки ягод, – настолько все вокруг было исхожено и выползано буквально на коленках. Вдобавок стояла сушь, кукушкин лен пускал в лицо пуки ядовитой пыльцы, недозрелые клюквины с белыми боками терялись во мху и среди брусничника. Где-то впереди аукались бабы. От полного разочарования меня спасли лишь густые, в пол-акра, заросли гонобобеля по редкому сосняку, так что я и наелся и быстро набрал половину целлофанового мешка крупных сизых сочных ягод. Недоумение, отчего это иностранные сборщики пощадили голубику, развеялось, как только я подумал, что и я, пожалуй, оказавшись в Средней Азии, из осторожности отравиться не стал бы собирать кизил или шелковицу. Хотя стояли утренний солнечные часы, опасение, что иди еще далеко, помешало дальнейшему сбору: я вернулся на дорогу и, на ходу лакомясь ягодами из мешка, продолжил путь. Болоту не было конца, оно тянулось и через пять, и через десять километров. На одном совсем голом участке я заметил долговязых журавлей, они изредка гортанно и тоскливо курлыкали, и от их скрипучего, протяженного, издали доносящегося перекликанья повеяло вдруг такой щемящей русской печалью, что захотелось заплакать. Мне, северянину, вдруг до боли ясной сделалась печаль среднерусских полей и болот, в которых можно сутками в пасмурный день бродить в промокшем плаще с ружьем за плечами и парой продрогших собак, как делали и Тургенев, и Ценский, и может быть, даже Бунин и Есенин, уроженцы этих грустных полей, пересеченных перелесками и балками. А как знобок и сиротлив ветер на этих открытых полях и болотах, как печален серый горизонт, засеваемый холодной дождевой пылью! На холодных щеках и капюшоне плаща дрожат дождевые капли, на черных голых деревьях, когдаходишь в хутор, сидят, понурив хвосты, и даже не каркают мокрые простуженные вороны, и за день безутешных и безуспешных скитаний по болотам так устал и озяб, что гредишь лишь о жаркой открытой печи да о кружке горячего дымящегося чая.

Постепенно дорога пошла в гору, а за деревней Селино, в которой меня еще раз попытались запутать местные жители, открылись ослепительные поля и дальний горизонт, на котором дугой толпились белые особняки села Тургиново и ажурные конструкции какого-то завода. Я уже едва волочил ноги, но солнце так пленительно блестело над пашнями, а справа так живописно вилась река Шоша в зеленых берегах, что от впереди лежащего простора я ощутил даже душевный подъем. Последним приключением на пути стала встреча и разговор с худощавым и бритым стариком-рыболовом, который прямо возле дороги, под береговым откосом у ручья закидывал две свои удочки в наморщенные синие воды реки Шоши. Этот симпатичный пожилой человек, опять-таки чем-то неотвязно похожий на отца той женщины, с которой у меня

была горячая, но бестолковая связь, собирался уже уходить на автобус, потому что у него с утра не клевало, но когда на бережку появился и присел я, и мы разговорились о рыбалке и прочих удовольствиях жизни пенсионера, он, несмотря на осеннюю холодину, свежий ветер и крупную рябь, начал таскать одного за другим жирных ельцов, так что даже раздухарился и руки у него задрожали от азарта. Я понял, что принес ему удачу, и задержался еще – из удовольствия поспособствовать приятному человеку. Ветер охлаждал, а солнце еще очень даже грело, и была та ласковая осенняя погода, когда все ликует в сиянии дня. Шоша мне нравилась больше, хотя по ширине и полноте была точь-в-точь, как соседняя Лама, только что без травы и кустов в русле: дневное впечатление было благоприятнее ночного; я даже подумал, не соорудить ли и мне удочку из имевшегося набора лесок и грузил, потому что в холодильнике, что ни говори, а царила перманентная пустота, но рыболов через два слова на третьем вспоминал про автобус, отходящий через час, и тем самым меня разохотил. Возвращаться в город не хотелось, но и еще одну ночь проводить ради неизвестного ужения – тоже. Как жаль, что приходится воздерживаться даже от скромных трат и развлечений, когда в кармане пусто, – а то ведь бы мне не составило труда переночевать в местной гостинице, а завтра целый день с пользой провести на этих акварельных берегах: ведь всегда интересно, что можно извлечь из новых заманчивых глубин».

ПО ДОРОГАМ ПОДМОСКОВЬЯ



река Рожайка в Домодедовском районе

Зависимость от рода не всегда даже осознавалась. Отправляясь в сторону Домодедова, я искренне полагал, что развязываюсь с той самой крещеной иудейкой, о которой уже упоминал и которая через серию квартирных обменов заполучила сносную квартиру на берегу реки Рожайки, на окраине города. (Врала, скорее всего, об обращенности-то; даже если и правда, что толку: питона ведь плодами авокадо не насытишь, между тем как от стремления евреев омертвить, узаконить, орелигиозить всё живое с души воротит). С одной стороны, это так и было, и я, как сильная муха на липучке, в конце концов выдрал все четыре лапы из клейкого состава грязи и ужаса, которым околдовала меня эта дочь Сиона. Я ездил в Домодедово и дале чуть ли не каждую неделю и таким образом, пересекая пути ее ареала, мочась на ее тропах, добровольно устремляясь навстречу ужасу, добился, как ни странно, что он поблек и отступил, а потом и вовсе забылся. Но каково же было мое удивление, когда я много позже узнал (не ставили в известность, такая родня!), что далее, у станции Барыбино, была летняя дача моей родственницы, тетки по отцу, и ее семейства, и я, сам того не ведая, блуждал по лесным тропам в тех краях вдвойне небесполезно.

Но тем, что род меня отлучил и предал, серьезность положения не исчерпывалась, потому что приходилось разбираться – территориально, аудиовизуально, дистанционно, сенсорно и моторно – одновременно и с не-родственниками, которые почему-либо сильно опре-

деляли судьбу или даже почему-либо желали мне смерти. Избавляясь, например, от женщины, с которой была горячая, но бестолковая связь, я ездил в Дмитров и окрестности, основываясь единственно на далеком, полузабытом воспоминании, что где-то там проживает ее тетка, у которой ей случалось бывать; следовательно, поприсутствовав в тех местах, я отслаиваю и в снятом виде забываю и эти родственные обязательства, хотя бы они и являлись лишь в виде возможности: связь-то закончилась давным-давно. Я выскакивал где-нибудь в Орудьево, гулял с полчаса и запрыгивал в обратную электричку, а однажды по окружной железной дороге, на ночь глядя, заехал на станцию Желтиково, купил немного еды и отправился пешком гулять по окрестным деревням. Мнилась вообще-то ночь в лесу, но лиственный подлесок был такой грязный, неприятный, радиоактивный, что от этих планов пришлось отказаться. Я послонялся в дачных деревнях Ворохобино и Новинки, попытался вскрыть две-три дачи или переночевать в недостроенных, но урожай уже был, кажется, убран, цель – послеобеденный выезд на возможно большее удаление от Москвы – достигнута, так что я пешком почесал в город Сергиев Посад. Местность была слишком густонаселенной и пересеченной автодорогами, получить достаточный заряд счастья я все равно бы не смог, а идти по вечернему шоссе в сапогах с котомкой было куда приятней. Это сейчас я называю имена этих деревень и станций, а тогда в некотором смысле даже не ведал, куда заехал, так что узнать имя приближающегося селения было даже некой шпионско-разведывательной целью: вроде как продвигаюсь и рекогносцирую. Ах, если бы было можно десантироваться где-нибудь в бассейне Индигирки или Рио-Негру, уж как я был бы счастлив, скольких трудностей и испытаний хватил бы сразу же! А пока что приходилось довольствоваться суррогатом, но и эти три-четыре километра в потемках среди леса способны пощекотать нервы засидевшемуся горожанину. Возле какой-то деревушки я встретил нескольких дачниц (одна даже с полумешком картошки), выяснил, что они ждут автобуса, в разговорах об урожае крыжовника, о погоде и политике демократов хорошо провел время, вместе с полусельским человеком в раздолбанном, но отважном автобусе марки ЛиАЗ комфортабельно и бесплатно прокатился до станции жэдэ, уже за полночь был в Москве и от множества впечатлений имел глубокий сон без просыпу. Были и другие вылазки в том направлении с попытками снять-купить-украсть домик, с продуктивными лирическими шатаниями в перелесках, с расспросами ориентиров; как морская рыба заплывает в реку метать икру, так и я вырывался из этого безумного города на сельские просторы, чтобы видеть небо, траву, воду и горизонт.

Другие, тоже нередкие поездки в направлении Раменское – Воскресенск были совсем уж с непонятной целью, потому что с женщиной, которая жила в городе Дзержинске, мы были просто добрыми приятелями, и избавляться от нее вроде как не требовалось. Я крутился и вокруг Белозерской, вокруг грязного, как пруд, круглого пристанционного озера, и среди тростников в голой местности Конобеево, и шел пешком вдоль железнодорожного пути мимо станций Виноградово – Золотово – Фаустово с особым переживанием в пути филологических и ономастических изюмин этих поименований, и в Раменском с пригородами, название которого, что ни говори, а когда-то значило «лес», «лесная опушка». Я множество раз вываливался наугад на станциях между Крюково и Клином и шатался там до изнеможения. Я часто ездил и в направлении Апрелевки, и не потому, что в Перedelкино («Перделкино», как шутят поэты-остроумцы) существует писательский городок, а потому, что там тоже есть пути – дороги – буераки – тропы, которые ведут в неизвестном направлении с познавательной целью. Я, который больше других заявлял о ненависти к Москве, Подмосковию и всему Отечеству, за эти три года исколесил его на своих двоих больше, чем все присяжные патриоты вместе взятые (заявления о любви к отечеству происходят вообще от тех, кто мотается и живет по границам). И, тем не менее, вся эта местность так и не сделалась моей, я к ней просто попривык и отчасти примирился: привычка свыше нам дана. Не имея возможности (или страшась) реально и в короткий срок переселиться на любимый северо-запад, я попытался – и это понемногу

получилось – реакклиматизироваться все-таки на враждебной, на не-своей территории, и здесь действительно оказалось достаточно русских местечек и бытийных био-лого-форм, которые меня с действительностью замиряли. Встречались даже совсем уж наши – от чуди, корелы и мери – названия на «га» и «ма»: Вязьма, Яхрома, Лама, Ямуга; если случалось ехать в электричке и вдруг объявляли что-нибудь этакое, я тотчас, не сомневаясь, высказывал на платформу, даже если кругом был чахлый кустарник без всякого вида или дома-новостройки. Контролеры и проверщики билетов стали моими добрыми друзьями – настолько часто приходилось с ними препираться и объясняться по поводу бесплатного проезда. Неужели вы думаете, что если бы я имел под боком эту глупую двуногую курицу с широким захватом губ и гени-талий, она позволила бы мне быть так безрассудно счастливым, свободным и любящим жизнь? Да я бы только и делал с утра до вечера, что трудился ради ее благополучия, спал у телевизора и послушно разевал рот, куда она клала бы свою стряпню; я не видел бы ничего, кроме ее постной или масляной физиономии, не слышал бы ничего, кроме ее захватнических и лукавых речей, и не вылезал бы никогда из помещений, которая эта дурища предлагала бы мне вместо прекрасного окружающего мира...

Имевшие прочность воспоминания относятся к Павелецкому и Курскому направлениям, и я попытаюсь их воспроизвести.

Местность по названиям, к счастью, не очень запомнилась, зато маршрут избрался на диво безлюдный, натурный, вдали от селитебных зон, как выражаются архитекторы, и дал стойкое, даже отстоявшееся впечатление осени, осенней грусти, природного всеохватного увядания. Помню только, что автобус рулил по витиеватой, как горная серпантина, дороге среди полей и перелесков, по облику его пассажиров и пейзажам за окном я понял, что заехал в мирный степенный сельский уголок в стороне от опасных радиоактивных изотопов урана и германия, которые циркулируют, распадаясь, по артериям столицы и пригородов, и в первой же деревне, где автобус высаживал, я вышел. Через осыпавшиеся ворота в решетках и каменных столбах вошел на территорию прекрасно запущенного парка из старых деревьев, где еще сохранились два прекрасных белокаменных дворянских особняка с напрочь облупившимся фасадом и облезлыми колоннами, со здоровым любопытством исследовал его незапертые коридоры, развороченные клозеты и комнаты, в которых на расстеленных одеялах ютились два беженца-абхазца, распространяя по всему особняку вкусный запах какого-то национального варева на основе риса, зелени и аджики (на запах и завернул), а потом двинулся куда-то прочь по тропе, заваленной красными и желтыми листьями. Справа и снизу, закрытая плотными ольхами, журчала и пованивала заплесневелая речонка с одним из местных, таких зловеще чудных названий, что обхохочешься (Злодейка, Негодяйка, Нищенка, Рвотка), но парк был хорош, воздух выстоян в конденсате осени, редок и студенист, а настроение – как у школьника, удравшего с уроков: боевое. Взгляд, хоть и не всерьез, порыскивал в поисках грибов, ноздри раздувались от аромата палых листьев, а речка внушала теплые чувства за ее мужественное стремление все-таки самоочиститься, протекая среди прибрежного хлама. Так что все было в порядке.

Здесь понадобится публицистическое отступление. Отступление, которое многим моим недоброжелателям не понравится. Но снова и снова я вынужден объясняться, чтобы быть правильно понятым. Дело в том, что мне нужно было р е д к о е пространство. Без людей. Я родился и вызревал в редком пространстве. Как та картофелина, которая одна у корня, но на два килограмма. Как та тыква, которая одна на гряде, но на двенадцать килограммов. Я был счастлив только в Ясной Поляне. Только в Ки-Уэст. Только в Фернее. Только в местечке Сегельфосс. Только на Берегу Маклая. В этом невменяемом государстве, которым управляли круглорожие воспитанники общественного откормочника, я чувствовал себя комфортно только в межзвездном пространстве на орбите, которая не пересекалась с делами плоти. На улицах Москвы я чувствовал просто физическую тесноту. Я не плыл в косяке селедок, которая из сетей тотчас

поступает в засол. Я никого не презирал, ни единого человека, но остро чувствовал: вот это мое, а это не мое. Всякое помещение было не моим, прикладная идеология была не моей, книги, сочиненные дельфинами для селедок, были не моими. Открытое небо и уединение требовались для самосозерцания и покоя. Я расслаблялся только в лесу. Я понимал, что меня избивают и уничтожают; у меня крошились и разваливались зубы, в сорок лет я жевал деснами, а заказать протезы не имел средств; в пекле столицы, как живой организм в солнечной магме, я мог только вопить от боли и распадаться; я ненавидел метрополитен и телевизор как выдумки Дьявола для умножения своей жатвы; мои гонители росли, как морской песок, мне месяцами никто не звонил. Уже десять лет мне пытались доказать, что я больной, или умер, или скоро умру. Как протуберанец, я пытался выбраться за край солнечной короны, из термоядерной реакции этого безумного города, но центробежные силы всякий раз втягивали меня обратно. (В те годы только-только отменяли прописку, ее заменяли приватизацией: не хватало бочкотары, такой большой улов). Это было так, как если бы из парной тебя швыряли в снег, а затем продрогшего лечили паром. Евреи, эти санитары цивилизации, уже в глаза и за глаза льстили в надежде, что я вот-вот откинусь (помня судьбы больших русских поэтов, я послал их на х..., хоть и с опозданием). Меня ковали злые силы, чтобы показать, как закалялась сталь, кто виноват, что делать; во все стороны летела окалина, но на декоративную решетку вокруг городского особняка я все равно не годился. Была лишь робкая надежда, что удастся утишить душевные бури, успокоиться, улечься, облениться. У меня оттяпали кусок с краю, я хотел, чтобы он зарубцевался, чтобы я тянул хотя бы на восемь кило. Пусть не на двенадцать, пусть на восемь. Только бы не на килограмм.

Евреи предлагали мне деньги. Они упорно предлагали мне 29 сребренников. Я просил 31. Нет, такую сумму они дать не могут: слишком жирно будет. Тогда я послал их на х... и поехал на природу – лечиться и восстанавливаться хотя бы в три четверти прежнего объема. Стояла осень. Природа широко улыбалась и предлагала все забыть. Единственная сделка из всех, которая пришлась мне по вкусу.

В те годы министром финансов был Александр Лившиц. (Запусти козла в огород, не поможет ли собрать капусту). Хотя в кармане у меня побрякивал только медно-никелевый сплав, но на краюху хлеба и банку консервов хватило. Я купил это в сельском магазине и через территорию пустовавшего пансионата проник в осенний перелесок. Здесь протекал ручей, росла высокая пожухлая трава, а дальше пологим горбом выпирало широкое поле. В этом поле толстая женщина пасла двух белых коз, а другая рядом собирала какую-то лечебную траву: высокое зонтичное растение, пижму или дудник, который она связывала охапками. С кем бы я ни встречался в лесу или в поле, это всегда были хорошие люди, а не разбойники, против народных представлений. Я понял, что тут я в безопасности, скинул котомку под щелястой ивой у ручья, расстелил картонку, валявшуюся неподалеку, потому что было сыровато, и стал собирать хворост для костра; а вскоре он уже весело потрескивал, и можно было располагаться к ужину. Я не знаю запаха приятнее, чем дым от костра, особенно вечером в весеннем лесу (снег только что сошел, но птицы уже всюю распевают; очень безветренно, сухо, и дым просто висит, где образовался, расслаиваясь в синие междурядья). Вскоре женщины ушли, я даже не заметил, в какую сторону. Поле, очевидно, занимали кормовой травой, которую скосили так давно, что поднялась высокая отава. Где-то там, в невидимом за перелеском конце поля, откуда проистекал ручей, дачники копали картошку и жгли ботву, потому что там поднимался сизый туман и досюда досягал ее запах. Была редкая тишина, редкая здесь, в Подмосковье, когда не слышен ни гул электричек, ни шум автомашин, ни вой вертолетов. Я тоже вел себя тихо и, когда уже совсем отужинал, заметил ежа, который, ворча и поводя носом, поднимался из зарослей сухой осенней травы от ручья к луговине. Он шел так бойко, что я испугался его упустить и, когда он очутился за ивой, дотронулся до него сухой веткой. Он моментально свернулся клубком, встопорщив все свои серые шипы, и на ощупь стал как щетка, которой расчесывают

овечью шерсть некоторые валяльщики. Из-за длинного коричневого носа-хоботка и коротковатых кожистых лап вид у зверька был забавный, он ворчал и немного по-кошачьи шипел, пока я трогал и перевертывал его на спину, а после того как вернулся к костру, он продолжил свое поисковое путешествие к окраине поля.

Потушив огонь, я двинулся по тропе вдоль и вверх по ручью и вскоре действительно вышел на картофельные гряды, с трех сторон окруженные лесом. Человек в солдатских галифе и защитной омовской куртке и двое детей убирали в мешки рассыпанный по грядам картофель, их собака меня облаяла. Гряды были очень глинистые, сырые, на некоторых валялись не завязавшиеся капустные вилки и белые корневища. Я прошел мимо тлевшей кучи ботвы и по тропе мимо них углубился под полог леса. Везде было пестро от опавшей листвы, но еще больше ее сохранилось на деревьях, в этой частой короткоствольной роще из молодых кленов, берез, осин. На лужайке, усыпанной золотыми листьями, посидел на останках какого-то железного лома (по-моему, сенокосилки), покурил, вспомнив, как часто сиживал в таком вот вертячем кресле на косилках и жнейках одного вологодского колхоза; затем прошел задами дачного поселка, огороженного ячеистой металлической сеткой от бродяг, подобных мне. Дорога – две заросшие колеи, полные воды и палых листьев, – вела под полог леса, и, хотя сильно смеркло, я знал, что пойду по ней, куда бы она ни вывела. Мне бы жить в штате Теннесси во времена Майн Рида, описания которого я вижу, как если бы сам там присутствовал и действовал, кочевать под открытым небом, потому что, увы, я был и остаюсь мужчиной, в отличие от большинства этих общественных глистов; уж там бы я наверное нашел себе друга...

Через два километра дорога вывела к обочине какого-то шоссе, по которому я не пошел, а через живописную прогалызину, заросшую по краям крепкими дубками, обнаружил еще одну тропу, параллельную той, по которой только что шел, и с удовольствием от густых сумерек по ней двинулся: была мысль заночевать у костра. По-детски здоровый человек ночью в лесу на неизведанной дорожке испытывает настороженность и страх, прислушивается к шорохам, озирается, боится (как и полагается не очень вооруженному зверю, без крепких когтей, рогов и копыт), но сейчас я был еще настолько толстокож, что первобытные страхи в мое сердце не проникали; лес был обветшалой, застиранной декорацией, осыпалась его пустая картинная схема (как выразился по этому поводу один поэт). Голизна стволов и сучьев воспринималась бы честней и проще этих пестрых цыганских платьев, золотых и медных монисто. Шагнув за придорожную канавку, я собрал немного хвороста и развел небольшой костер, который горел плохо: не было тяги. Спать было негде. Есть было нечего. В Америке меня бы поняли. Там тоже не в чести бродяги и бездомные, но и самые благонамеренные граждане там проводят отпуск в палатках. Здесь же, вылетая из улья не за медом, ты становишься невидимкой для всех остальных пчел. Джон Макинрой, в отличие от Домодедовского лесничества, шуганул бы меня со своей территории, а может, и собак натравил бы, но это был бы прямой разговор двух свободных людей, и ему не было бы на меня до такой степени начхать. Это густолесье вроде бы и не принадлежало никому, но по развешенным указателям становилось понятно, что сюда возят сытых и пьяных восточных чиновников с заплывшими салом глазками попариться в сауне и поохотиться на кабанов. Ничей лес, принадлежащий свиньям. Ничей художник, которого уже столько лет держат в нужде и в черном теле, не платят и не печатают, а потом, по истечении лет, какие-нибудь такие же свиные глазки издательского чиновника станут жадно пересчитывать его же денежки и класть в свой карман...

Спустя минут десять из сизой тьмы вслед за мной выросли три фигуры – двое мальчишек подростков и девчонка, спросили у меня дорогу; они явно спешили, были напуганы темнотой или сбились с пути. Я объяснил что знал, но после их ухода через пять минут поднялся и сам: заночевать можно было разве на дереве, на лабазе, но я ни одного не заметил. Эти трое с размытыми очертаниями лиц неотчетливо, протогенетически напомнили двух двоюродных братьев и сестру, какими я их помнил, когда в последний раз видел. Так что демонстрировалась некая

схема взаимных поисков родственниками друг друга: ищущие спрашивали у знающего. Здесь все либо искали, либо знали. Знающие морочили ищущих, зато у ищущих было много сил. Я раскидал костер, чадающие головешки спихнул в канаву и двинулся следом. Было тревожно, но не тем молодым страхом сильного зверя в ночном лесу, а неким пантеистическим, диковинным (так блеет заблудившийся козленок с приближением волка): перепутывались какие-то важные пространственно-временные отношения, и этого нельзя было допустить. Хотелось здоровья и наполненного одиночества, а мне опять предлагали какую-то гонку на выживание. Тогда мне еще не приходило в голову, что можно просто уехать куда-нибудь и пропасть без вести. Как тот русский император, который не умер в Таганроге, а ушел в пустынь. Да, так. Свобода на Западе выражается в том, чтобы захватить участок и обосноваться на нем. Свобода на Востоке заключалась в том, чтобы вылететь из улья, сказав, что за медом, и больше туда не возвращаться. Некоторые улетали на тот же Запад, но у меня что-то не получалось. Начать с того, что было не менее пятерых охотников купить мою квартиру, но – задаром. Так у нас велись дела: всегда предполагалось, что из двух участников сделки один обязательно дурак.

Позже, обобщая опыт всех путешествий (и более ранних, о которых еще не написано), я стал догадываться, что инстинктивной их целью была не только любовь к природе и стремление к здоровью, но и стремление найти некое пространственно-временное положение, в котором было бы удобно, покойно и счастливо. Я человек деревенский до мозга костей. Даже жители сел и городков на десять-пятнадцать тысяч жителей имели передо мной неисчислимы преимущества; в частности, они умели жить в камне, не страдали оттого, что не чувствовали мягкой почвы под обувью. Скитаясь теперь по проселкам и тропам, я как бы восстанавливал координаты той единственной – моей – деревни, в которой родился, а также вологодского поселка Майклтаун (пусть будет это название). Деревня вроде бы была совсем чужая, незнакомая, – и вдруг я чувствовал, что вхожу в ту, в которой лет этак тридцать пять – сорок назад гостил у бабушки: вот заулочек к магазину, вот тропа через поле к речке. Сейчас, следуя за этими тропами, я, оказавшись на краю леса, ощутил, что вхожу в свою вологодскую деревню со стороны лугов и поля. Окрестность была иная: там тропа шла посреди поля, а слева вилась изгородь вдоль речки, которую не было видно за кустами, – здесь слева шел плотный лесок без всякого намека на реку. Но впереди, как тогда, так и теперь, в ночной мгле ярко светились приветливые огоньки, и это создавало полную иллюзию, что мне двенадцать лет и я возвращаюсь домой, запозднившись с рыбалки. Нет, в том поле детства было не так голо и зелено, как в этом, стриженном, точно газон, но огоньки-то были настолько те же, что я в страхе остановился, решившись не входить. Заночую-ка я вон там, в перелеске, откуда видно шоссе с проходящими машинами. Было уже так темно, что я то и дело сбивался с тропы; но смеркалось еще заметнее от тучи, обволакивающей небо за спиной. Пошел мелкий дождь. Спать у кромки поля, под дождем, наблюдая, как по шоссе движутся зажженные огоньки фар, – даже Велемир Хлебников с его пресловутой наволочкой, набитой рукописями стихов, бредущий по российским проселкам в голоде и холоде гражданской войны, вряд ли чувствовал себя бесприютнее. Да, я ушел из дому и не вернусь туда, но это не такая подлость, чтобы так наказывать меня! В этих автомобилях едут люди, в этих домах спят другие, – они все за редкими исключениями покинули отчий дом, но ведь рок не гонит их скитаться пешком по дорогам Подмосковья, чтобы обрести утраченную гармонию. Я так боялся этого оживленного шоссе и этих фар, что захотелось тут же лечь на короткую щетину озими и умереть при дороге. Я ничего в этой жизни больше не понимал. Я знал только, что что-то препятствует мне войти с тылу в деревню Поливаново, сесть где-нибудь на автобус и вернуться в Москву. Москва была чудовищем, шоссе было рекой зла, я был растерянным ребенком, который стоит и мокнет под дождем и от страха не смеет плакать. У всех был свой дом (и у меня тоже, пусть холостяцкий), но казалось, что только один я на всей земле так люблю поле, горизонт, мокрый дождик, шевеленье осенней тучи над головой. Я любил это и отторгал все искусственное. То есть, просто все дела рук человеческих,

всю цивилизацию. Наверное, так робко крадется одичавший домашний кот к жилью, в котором когда-то обитал, так бизон нюхает загородки, в которых днем побывало дойное стадо. Я знал, что я не один такой – д и к и й, но сейчас это не имело значения. Значило только, что я не люблю все это: крашенные самоходные повозки на колесах, крепкий деревянные дачи на кирпичном фундаменте под крышей из листового кровельного железа и вон тот искусственный водоем – пруд, в котором мертво поблескивает свет фонаря. Сейчас я видел их со стороны и очень трезво понимал, что они сумасшедшие. Они сумасшедшие, а я здоровый, простой и счастливый, и не надо бы мне идти к ним. Вот это особенно: не надо к ним идти.

Вместе с тем было не очень понятно, как сложится моя хорошая, правильная и мудрая жизнь, если я сейчас лягу под кустом, а завтра чуть свет, дрожащий от холода, проснусь под серым осенним небом. Ведь не выстроится же в одну ночь хрустальный дворец посередине поля, как в русской народной сказке, где я проживу долго и счастливо. Там, впереди, у н и х, была организация, было злой волей составленное движение повозок и органических тварей, и было до горечи понятно, что надо идти заискивать и кланяться этой злой воле, чтобы быть принятым в организацию и утратить самосознание. Мое самосознание и покой здесь – там подменяли целью и движением. Меня просто положат, как сборочную деталь, на конвейер шоссе, в городе автомат сгребет меня членистой клешней и опустит по эскалатору пунктов на семь под землю, там меня затолкнут в электромагнитное ложе поезда вместе с другими деталями, вытолкнут по команде, поднимут на семь пунктов вверх, переместят мимо киосков и аптеки, поднимут на три пункта над землей, втолкнут в секцию, защелкнут дверь.

Свободный человек может любить такую судьбу?

Тем не менее среди поля я размышлял недолго – по насыпному валу прошел вдоль пруда (слева открылся извив какой-то большой реки), по крутой каменистой улице поднялся вверх, подошел к застекленной веранде очень новенькой, но скромной дачи, постучал, попросил напиток. Неожиданно приветливая русская женщина позвала меня пить чай, а когда я отказался, вынесла кружку молока и три сочных бутерброда с вареной колбасой. Я даже не особенно отказывался – настолько запросто мне их вручили, лишь смутился очень. На крыльцо доверчиво вышел симпатичный пожилой человек и рассказал, как ехать. В ответ я так же доверчиво сообщил, что путешествую и в их лесничество проплутал до темноты. Сколько можно было судить по краткой беседе, это был либо простой и очень честный рабочий, либо художник на покое. Последовав его указаниям, на ходу употребляя бутерброд, я вышел к шоссе, но там стало понятно, что домой меня не тянет. А, была не была, заночую где-нибудь здесь. Я вернулся в деревню, спустился той же дорогой и пошел по тропе вдоль реки, которую за неподвижностью принял сперва за извилистый пруд.

По берегу росли редкие старые березы, но хвороста было так мало, что мой костер продержался только минут сорок: хватило, чтобы вскипятить чайник и при его свете уложить в рюкзак нехитрые припасы. Я избегал всю окрестность в поисках хоть каких-нибудь прутиков, сжег все пакеты и банки, оставленные рыбаками, обломал все нижние сучья, до которых дотянулся, но костер все-таки потух. Хоть я и изображал из себя ковбоя, но спать на голой земле, завернувшись в плед, не решился, потому что завтра следовало явиться на улицах Москвы. Знал, что если в волосах у меня будет солома и пепел костра, а плащ позеленеет от травы, не исключено, что первый же милиционер на Павелецком вокзале попросит документы, несмотря на интеллигентную внешность и совсем не испитой вид. Но спать все же хотелось. Вздрагивая от холода и нервного возбуждения, совсем не согретый чаем, я двинулся наобум в поисках подходящего ночлега. Все-таки это была река, сорная волжская река в траве, кувшинках и бензиновых разводьях. Оказывается, было всего только десять часов вечера, потому что там, где светилось городское зарево, вдруг вспыхнули огни праздничного оружейного салюта. От нечего делать я им отсюда любовался, хотя пошлостью от этих ярких букетов так и разило, как от румян городской девушки с цыплячьей кожей: напрасно пытался фейер-

веркер выдать анемию и бледную немочь за буйство жизни. Высоко взлетающие шутихи лопа-лись и рассыпались, отсвет радужных огней ложился на сонную воду, в которой под тонкой пленкой нефти что-то еще пыталось булькать: какие-то земноводные.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.